

Каширин Сергей Иванович
Орлята учатся летать: Рассказы

Проект "Военная литература": militera.lib.ru

Издание: Каширин С. И. Полет на заре. — М.: Воениздат, 1976.

Scan: AAW

Правка: Polarnik

Каширин С. И. Полет на заре. Документальная повесть и рассказы. — М.: Воениздат, 1976. — 256 с. Тираж 65000 экз. Цена 51 коп.

Аннотация издательства: В этой книге многое на первый взгляд может показаться преувеличенным для занимательности: военные летчики, о которых рассказывается в ней, часто попадают в крайне опасные положения, но из любой обстановки выходят победителями. Вместе с тем все эпизоды достоверны и большинство героев названы их настоящими именами. Они и сегодня служат в армии, свято храня боевые традиции своих отцов и дедов.

В недавнем прошлом автор книги сам был военным летчиком, летал на многих современных самолетах. Он рассказывает о людях, с которыми вместе летал, совершал подвиги, встречался во время творческих командировок.

1	Полет на заре.....	1
2	Младший брат.....	14
3	Песня над облаками.....	23
4	Колокольчики на аэродроме.....	26
5	Право на риск.....	38
6	«Свой?» — «чужой?».....	45
7	Встреча.....	54

Полет на заре

Раннее весеннее утро казалось Андрею Дубнову необыкновенным. Он мог поклясться, что никогда еще не видел такого рассвета. Однако его никто ни о чем не спрашивал, да и сам он на какой-то момент словно забыл обо всем на свете. Стоял, смотрел на восток и радостно улыбался.

Вообще с некоторых пор ученик летной школы, а сокращенно учлет Андрей Дубков был безмерно счастлив. Когда его приняли в летную школу, он испытывал такое чувство, будто незаслуженно попал с грешной земли в рай. А уж сегодня...

Сбывается, сбывается самая большая, самая невероятная, почти сказочная его мечта! Инструктор, красный военный летчик, а сокращенно красвоенлет Иван Федорович Лихарев сегодня начнет учить его летать.

— Не робей, Андрей-воробей, — пообещал он Дубкову вчера вечером. — Ложись и спи спокойно, чтобы голова была ясной. Перед полетом выспаться — первое дело. Понял?

Андрей и впрямь был чем-то похож на воробья. Посмотришь — вечно какой-то взъерошенный, шепотливый, готовый смело дать отпор любому обидчику. И ходил быстрыми, короткими шагами, точно прыгал грудкой вперед — решительно и задиристо. Он не знал, да и не задумывался над тем, как выглядит со стороны. Ему было приятно, что инструктор разговаривает с ним по-свойски, словно с ровесником, и учлет бойко отвечал:

— Понял, товарищ красвоенлет. Чего ж тут не понять? Перед работой всегда сил надо набраться. Так что буду спать ровно убитый.

— Тогда полный порядок, — дружелюбно кивнул Лихарев. — Отоспись всласть, а

завтра — прокачу. Покажу тебе, как над свободной Россией аэропланы летают...

Вспоминая вчерашний разговор с инструктором, Андрей смущенно повел плечами. Неспроста Иван Федорович успокаивал его. Видел, что ему боязно.

Конечно, если не кривить душой, то лететь страшно, и спал он нынче не так беззаботно, как обещал. Но он полетит! Его же никто не заставляет, он сам решил выучиться на летчика. И станет!

Группами и поодиночке мимо Дубкова проходили механики и мотористы. Учет принял строгий и серьезный вид. Ничего он не боится. Ни капли. Это от ночной сырости зябко, вот и пробегает временами по телу легкий озноб.

Заря еще не румянилась, но восточный край неба позеленел и становился с каждой минутой все светлее. Взгляду постепенно открывалось поросшее травой, просторное и ровное, как пойменный луг, летное поле. Невидимые в туманном свечении прохладного воздуха, пробовали свои голоса жаворонки.

Далекие, нездешние воспоминания стеснили Андрею сердце. Так, бывало, задолго до восхода солнца выходил он за околицу родной деревни на сенокос...

По дороге проползла пароконная подвода. На телеге лежали две большие железные бочки.

— Что привезли?

Керосин вперемешку с газолином, спирт, ацетон, бензол, толуол — чего только не заливали в баки аэропланов! «Авиаконьяк», «казанская смесь» и прочие вонючие суррогаты разъедали резиновые трубки бензинопроводов. От них покрывались язвами руки, засорялись жиклеры карбюраторов, быстро перегревались и глохли моторы. А иногда и вообще авиаторы целыми неделями сидели без горючего. Чем же порадует ездовой нынче?

— Но, милый, но! — будто не слыша, понукал лошадей незнакомый возница и лишь после повторного оклика вроде бы нехотя отозвался: — Бензин сѣдни, бензин...

— Вот спасибо! — обрадованно сказал Андрей. И повторил: — Вот спасибо-то вам!

Он круто повернулся и зашагал к ангару. Его охватило деятельное, давно не испытываемое возбуждение. Будут, будут полеты! Вон какая на траве ядреная роса. Это к ведру. И рассвет ласковый, тихий, без ветра. А самое главное — бензин. Чистый, что твоя слеза, авиационный бензин. Воистину все складывается как нельзя лучше!

Мотористы и учлеты выводили из ангара аэроплан. Они катили его задом наперед. Двое из них ввалили себе на плечи хвост и шли направляющими, остальные, упиравшись руками в крылья, толкали машину за ними.

— Взяли! Иш-шо взяли! — резво командовал механик и тут же предостерегал: — Тиш-ша! Ровнее пихайте, черти, ровнее! От, битюги...

— Ишь облепили! — засмеялся Дубков. — Как мухи пряник.

Он тоже взялся за холодное ребро плоскости, помог товарищам вывести аэроплан наружу. Потом, не отдыхая, схватил два огромных бидона, чтобы идти за бензином.

— Ты куда? — остановил его моторист.

— Знамо куда. Али не видишь?

— Тебе не велено.

— Это почему? — насторожился Андрей, не выпуская из рук бидоны.

— Не трать силы. Тебе лететь сѣдни, — пояснил моторист. — А пока гуляй...

Дубков взглянул на него с благодарностью. В груди шевельнулось теплое чувство к этому человеку. Лоб, щеки и даже кончик носа у моториста вечно измазаны копотью, порой без смеха глядеть нельзя. Но башковитый — куда! Все знает: и какая шестеренка за какую цепляется, и для чего самый малюсенький шурупчик служит. С ним всегда полезно рядом работать. Ежели чего не знаешь, подскажет, поможет.

«Хороший мужик, — думал Андрей, — душевный...» В голубоватой мгле рассвета перед ним вырисовывались очертания аэроплана. Издали четырехкрылая машина напоминала стрекозу. Два маленьких, велосипедного типа, колесика в сумерках были не видны, и

невольно думалось, что там — лапки. Над ними — толстенькая черная головка мотора, а дальше — суживающееся к хвосту туловище. Ей-ей, стрекоза!

Когда Дубков попал на аэродром в первый раз, у него от радостного волнения пересохло во рту. Это ж скажи кому — не поверят: можно подойти к железной чудо-птице, рассматривать ее вблизи, даже потрогать.

И он не утерпел, потрогал: ласково, как, бывало, коня, погладил зеленое крыло. Но погладил — дернулся всем телом, будто сзади его дубиной огрели. Похолодел: блестящая, стальная с виду обшивка прогнулась, ладонь ощутила не металл, а обыкновенное крашеное полотно. У Андрея из такого штаны. Да мыслимое ли это дело — подниматься на этой хлипкости в небо?!

Теперь-то Дубков, конечно, знал, что к чему. Аэроплан, если не считать винтомоторной установки, совсем не железный. Лишь возле кабины плоскости жесткие, а вообще они обтянуты лакированным холстом. Действительно самодельная стрекоза. Но как бы там ни было, на ней летают. Высоко-высоко летают, аж под облаками.

А это здорово — махнуть к самым тучам! Жаль, не учили пока. Ничего, научат...

Размышления Дубкова прервала громкая команда.

— Строиться! — крикнул механик. — В две шеренги становись!

Андрей с заколотившимся сердцем побежал к стоянке. Учлеты строились там для встречи инструктора.

Обычно летчики являлись на аэродром последними, когда все уже было готово к началу полетов. Красноюлет Лихарев считал столь поздний приход барством. Он спешил на летное поле затемно и не прощал опозданий никому из подчиненных.

Механик четко отдавал ему рапорт. Затем они вместе осматривали аппарат и опробовали мотор. Если случались неполадки, Иван Федорович закатывал рукава и первым лез под закопченный, забрызганный маслом капот.

На учебной машине мотор стоял ротативный. Раскручивая пропеллер, он всей своей громадой вращался на неподвижном валу, и тогда аэроплан трясся словно в лихорадке.

Лихарев называл пропеллер воздушным винтом. Такое название было более понятным. На пароходе — гребной винт, тут — воздушный.

А еще Дубков мысленно сравнивал пропеллер с веслом. Хочешь быстрее плыть — старайся быстрее грести. Андрей по опыту знал, как это тяжело, и его не удивляло, что поутру мотор долго не заводился. Спросонья ему не хотелось приниматься за свое нелегкое дело.

Когда Лихарев сел в кабину, моторист громко крикнул:

— Контакт!

— Есть контакт! — послышалось из аэроплана.

Это означало, что летчик включил зажигание. Механик и его помощник тут же рывком толкнули пропеллер по рабочему ходу и мигом отскочили вбок. Иначе нельзя. Замешкаешься — лопасть отрубит пальцы. А то, как сабля, раскроит череп.

Иногда проворачивать воздушный винт приходилось по многу раз подряд — мотор капризничал. Однако сейчас завелся с первой попытки. Выдохнув из патрубков огромный клуб сизого дыма, он затрещал, загрохотал, точно телега с коваными колесами по булыжной мостовой, затем, набирая обороты, загудел певуче и звонко.

От оглушительного гула у Андрея заломило в ушах... «Во гудёт! — морщась, думал он, а губы сами собой растягивались в довольную улыбку: — Горластый — страсть!»

Постепенно гул стал понижаться, потом перешел в спокойный размеренный рокот и как-то неожиданно оборвался. Наступила тишина. Лишь где-то вдалеке хрипло лаяли собаки.

Положив руки на борта кабины, Лихарев поднялся с пилотского кресла, легко перенес свое грудное тело на центроплан. Эта часть крыла, обшитая крашеной фанерой, была специально предназначена для прохода. Инструктор уверенно шагнул к ее заднему скосу, пружинисто соскочил наземь и весело произнес:

— Вот что значит чистый бензин. На нем и мотор любо-дорого послушать. Как механизм Павла Буре.

Механизмом Павла Буре красноенлет называл свои часы. А они у него были особенными. На серебряной крышке — надпись: «Честному воину Рабоче-Крестьянской Красной Армии от ВЦИК».

Влюбленно смотрел Дубков на инструктора. Вот он какой! В комбинезоне вроде механик или моторист, а оденет гимнастерку — на левом рукаве нашивка: парчовые крыльшки и пропеллер. Летчик. Настоящий. Жаль, не все еще про его часы знают. Он не фасонистый и хвастать не любит, а часы — это все равно что орден. Награда. За то, что в небе беляков бил. В гражданскую.

Андрей однажды эти часы в руках держал, к уху прикладывал. Тикая, они весело отзванивали. Не так, конечно, как мотор, но похоже...

Подойдя к учлетам, Лихарев негромко скомандовал:

— Становись!

После пробы мотора инструктор разрешал механикам перекурить, а сам беседовал с учениками. Они выстраивались перед ним в одну шеренгу. Неторопливо прохаживаясь вдоль строя, Лихарев объяснял, что и как нужно будет делать в полете.

— Ну вот, значит, это самое, — откашливаясь, начал он, — на разбеге повело влево. Так ты заметь впереди дерево или столб и правь на него. Трясет, подкидывает — ручку не выпускай. Прекратились толчки — летишь, стало быть, да. Теперь смотри, чтобы ровно над землей машина шла. Не надо ее это... волновать. Ежели дергаешь, она, ну, не любит. Понятно? Вот.

Говорил Лихарев нескладно, сбивчиво. Но вскоре увлекся, голос его зазвучал громче, увереннее, серые, с прищуром, глаза поблескивали холодным огнем. «Именно такими, — думал Дубков, — и должны быть глаза у летчика. Стальными. Отчаянными».

Коротко, как бы оценивая, взглядывал Иван Федорович то на одного, то на другого ученика. Когда он смотрел на Андрея, выражение лица у него было таким, будто он вот-вот добродушно усмехнется. Однако улыбался красноенлет редко, и, хотя относился к учлетам вроде бы простецки, был он очень требовательным, а порой и жестким. Велит что-то сделать — расшибись, но сделай. Повторять приказаний инструктор не любил.

Вот, словно рассердясь на кого-то, он насупился, погрозил пальцем:

— Взлетел — будь все время настороже. Все время. Опытному летчику проще, тот, это самое, телом, да, телом своим ощущает, что к чему. А новичок — он и есть новичок... Он со страху не видит, куда самолет клонится, вот.

Почти все авиаторы именовали крылатую машину аэропланом, аппаратом тяжелее воздуха, а еще бипланом. Лихарев называл ее самолетом.

«Здорово! — думал Дубков. — Все равно как самокат. По-нашенски. А то скажут тоже — биплан, моноплан. Пойми попробуй...»

— А править вообще-то не сложно, — продолжал инструктор. — Хочешь вправо повернуть — педаль и ручку вправо жми. Влево — тогда это, наоборот.

С теорией полета ученики были знакомы. Кое-кто и «воздушное крещение» уже получил — летал с инструктором. Но все — и те, кто поднимался в небо, и те, кто об этом только мечтал, — слушали Лихарева внимательно, боясь пропустить что-нибудь важное. А он, взглянув на Дубкова, прищурился, словно затаил под бровями усмешку, и подытожил:

— Одним словом, это... самолет — что твоя коняга. В какую сторону ехать, туда и возжу тяни.

Шеренга учлетов качнулась, беззвучно выражая одобрение рассказу своего наставника. Мудреная штука пилотаж, а вон как все просто.

— Только вот что, хлопцы. — Голос инструктора снова стал строгим. — Машина — она машина. Ежели и лошадь, то это... Ну, норовистая. Да. И поводья крепко держи. Иначе — хана. Вырвется, — Лихарев крутнул кулаком, — штопор. Понятно? Вот...

Слушая инструктора, Андрей вспомнил недавнюю аварию на аэродроме. Аэроплан шел по прямой, но вдруг, как большая рыба, вильнул хвостом и крутыми витками устремился вниз. При ударе о землю от него осталась лишь груда горящих обломков, и пожарники еле вытащили из пламени полуживых летчиков. Они пытались вывести машину из штопора, но не успели: не хватило высоты.

Тем двоим еще повезло: остались живыми. А вообще пилоты бились часто. Бывали недели — каждый день кто-нибудь гробился. Тогда похороны приурочивали к субботе, потому что на поминках многие напивались и наутро летать не могли.

Не летали и в понедельник — день тяжелый. Не летали тринадцатого — чертова дюжина. Дурным знаком считалось встретить бабу с пустыми ведрами и черную кошку. Нельзя было перед полетами бриться, чистить сапоги, фотографироваться. Больше того — любой пилот мог отказаться от вылета без всяких объяснений. Видел, мол, плохой сон, и все тут.

Некоторые летчики брали с собой в полет талисманы. Правда, пока лишь один из них, бывший поручик Константин Юрьевич Насонов, мог похвастаться, что его амулет — лошадиная подкова — приносит ему счастье.

— Чепуха! — сердился, слыша это, красвоенлет Лихарев. — Просто практики и знаний больше.

— Практика у вас тоже немалая. И над собой вы работаете упорно, я знаю, — возражал Насонов. — Впрочем, если хотите, не верьте. Но где-то в глубине души вы сами сознаете, что летчиком нужно родиться. Это уж бесспорно. Кому-кому, а вам лучше других известно, кто есть летчик.

— Как же, как же, наслышан. Сначала — бог, потом — летчик, все прочие — ниже. Так, да? Иначе говоря, вы — избранный? — прищурясь, спрашивал Лихарев, но тут же сердито взмахивал кулаком: — Ерунда! Я научу летать любого здорового человека с ясной головой и хорошим зрением...

Насонов снисходительно пожимал плечами. Дескать, поживем — увидим. Но учлеты верили Лихареву. Стал же летчиком он, в недавнем прошлом простой рабочий аэропланного петербургского завода Щетинина и всего-навсего нижний чин старой армии. Станут и они.

«Править вообще-то не сложно. В какую сторону ехать, туда и возжу тяни», — повторял про себя Дубков слова Лихарева, а пылкое воображение молодого учлета воскрешало картины пережитого.

Еще в те дни, когда ученики начали осваивать рулежку аэроплана по аэродрому, Лихарев установил для них правило: каждому забираться на ангар и, сидя там, глядеть с высоты нескольких метров вниз. Он считал, что таким образом новички быстрее научатся определять расстояние до земли. А это очень важно при снижении и выравнивании самолета перед посадкой.

— Так вы затащите туда аэроплан, — ехидно ухмыльнулся Насонов. — Куда реальнее выйдет!

— Надо будет — затащим, — спокойно ответил красвоенлет. Если он принимал какое-то решение, то ничто не могло заставить его отступить.

Рулили учлеты под наблюдением инструктора попеременно, и тот, кому выпадало садиться в кабину последним, на крышу отправлялся первым. Дубков в группу Лихарева пришел позже остальных. Поэтому, объявляя очередность рулежки, Иван Федорович чаще, чем другим, говорил ему:

— Ты у нас, Андрей, самый молодой. Тебе надо сперва глазомер как следует отработать. Так что давай на насест.

Насестом он называл толстую жердь, прибитую поверх дощатой стрехи ангара. Упрись в нее ногами — сиди хоть до скончания века. Удобно.

На земле, в полусотне шагов от стены, Лихарев колышком обозначил место, куда должен быть направлен взгляд учлета. Однако долго смотреть в одну точку Дубков не мог. Он

крепился, ругал себя нехорошими словами, но глаза невольно косили в ту сторону, где с громким жужжанием бегали самолеты.

Когда Андрей наблюдал за крылатыми машинами издали, да притом чуть сверху, они казались ему еще больше похожими на быстрых стрекоз. А иногда чудилось, что это огромные кузнечики. Они оглушительно стрекотали, резво подпрыгивали, поднимались выше домов, выше самых высоких деревьев, потом, шурша крыльшками, легко опускались на зеленую лужайку и сливались с ней своей окраской.

До недавнего времени порядка в движении аэропланов было, пожалуй, ровно столько же, сколько и в порхании взаправдашних стрекоз. Каждый пилот стартовал откуда хотел и садился куда вздумается. Насонов — так тот однажды вознамерился взлететь прямо из ворот ангара.

Сделать это ему не дал Лихарев. Он встал перед бешено вращающимся пропеллером и скрестил над головой руки, требуя выключить мотор.

— Уйдите! — заорал Насонов, высываясь из-за козырька кабины. — Вы что, с ума сошли? Прочь с дороги!

Красноенлет даже не шелхнулся. Он дождался тишины и негромко, но внятно произнес:

— Стыдитесь, Константин Юрьевич. Так стартовать преступно.

Простые смертные — механики и мотористы — от изумления прямо-таки онемели. Они уже хотели вытаскивать из-под колес аэроплана тормозные колодки и теперь растерянно смотрели на человека, который безрассудно сунулся под воздушный винт. Да и вообще, слыханное ли это дело — поправить в чем-то Насонова?! Насонов — ас. Он не чета любому другому инструктору.

Действительно, бывший поручик, не занимая командной должности, был тем не менее на каком-то особом положении. К нему относились настороженно и восхищенно. Его ценили за безаварийную летную работу и отчаянно дерзкий пилотаж. Во многом, что касалось теории и практики полетов, с ним нередко советовался даже начальник школы.

Словом, Насонов был фигурой. Он имел странную, почти неограниченную власть буквально над всеми. Это была власть мастера над подмастерьями.

— Что с вами говорить! — с трудом сдерживая себя, сказал этот надменный ас Лихареву. — Вы же педант. Понимаете? Педант.

— Эх, Константин Юрьевич, — укоризненно отозвался красноенлет, — не вызывайте меня на ответную резкость. И учтите еще вот что: анархия в авиации куда страшнее педантизма.

— Боже, вы еще и бестактны, — презрительно процедил Насонов, но лицо его побледнело. Незадолго перед тем он то ли в шутку, то ли всерьез обмолвился, что был анархистом-индивидуалистом. Теперь эти слова обернулись против него. Механики и мотористы не пытались скрывать насмешливых улыбок, а один из них, глядя вслед уходящему Лихареву, с одобрением заметил:

— Бедовый мужик! Такому палец в рот не клади... На должность инструктора Лихарев был прислан из боевого авиаотряда. Он горячо стоял за то, чтобы и здесь, в школе, были как можно быстрее введены четкие военные порядки. Однако старые инструкторы всячески препятствовали любым нововведениям и продолжали летать так, как привыкли.

В начале мая из-за этого стряслась беда. Тяжелый, неповоротливый «эльфауге» в момент приземления наскочил на взлетающий учебный самолет «авро» и разнес его в щепки. Погибли сразу четыре человека. Лишь после такой нелепой катастрофы на аэродроме начали кое-что менять.

По чертежу, сделанному Лихаревым, летное поле поделили на длинные прямоугольники и квадраты, обозначенные невысокими красными флажками. Широкие параллельные полосы служили для рулежки и старта.

В квадратах аэропланы останавливались для дозаправки бензином и маслом перед

повторным вылетом. Вскоре на этих площадках оказалась начисто, до черноты, выбитой трава, и с чьей-то легкой руки их стали называть пятачками.

Ближе всех к ангару был пятачок, с которого стартовал аппарат Насонова. Длительного руления по земле этот ас не признавал, считая такое занятие пустой тратой времени. Да и в воздухе он возил учлетов не так, как другие инструкторы. Обычно с новичками все летали по большому кругу над аэродромом, на что уходило шесть — восемь минут. Насонов, поднимая ученика в небо, уводил аэроплан далеко в сторону и крутил там фигуры.

— Запугивает людей! — сердито ворчал Лихарев. Но что он мог сделать? О каком-то едином порядке в летной учебе никто и не помышлял. Школа была создана всего два года тому назад. Инструкторы пытались найти общий язык, нередко до хрипоты спорили о правилах обучения, но каждый придерживался того метода, который казался ему наиболее правильным.

Многое в авиации было еще необъяснимо. Летит иной раз машина вроде нормально, ровно, но вдруг клюет носом и с ревом несется к земле. Если пилот оставался в живых, он утверждал, что провалился в глубокую воздушную яму.

На аэродроме постоянно дежурили врач и фотограф. К их помощи прибегали главным образом для составления протокола о катастрофе. Впрочем, заключение было всегда одно: «Причину установить не удалось».

Летать приходилось на старых, потрепанных аппаратах, чудом уцелевших в гражданскую войну. Некоторые аэропланы были собраны из двух-трех покалеченных. О парашютах вообще знали понаслышке. Их шили из шелка, а этого дорогого материала в разоренной стране не было.

Что же могло спасти авиатора в случае аварии? Только одно — умение удержать самолет от падения в полете и не дать ему опрокинуться в момент приземления. Этому прежде всего и учили.

Подняться в небо самостоятельно ученику разрешали после пятидесяти — шестидесяти взлетов и посадок с инструктором. Более способным давали тридцать пять — сорок вывозных. Однако многим не хватало и сотни.

— Не дано, — говорил про таких Насонов. — Органически не дано. Нет птичьего инстинкта.

Для того якобы, чтобы разом положить конец бесцельному обучению, бывший поручик устраивал начинающим учлетам жестокое испытание. Он буквально изматывал в воздухе необлетанных, робевших перед ним птенцов головокружильными фигурами.

На днях после первого же полета один из учеников Насонова не смог подняться с пилотского кресла. Когда аэроплан подрулил к пятачку, этот молоденький паренек, содрогнувшись всем телом, свесил голову за борт. Его тошнило.

Дубков, сидя на крыше ангара, чуть не заплакал от жалости и бессильной злости. Он слышал приглушенный расстоянием выкрик:

— Выньте это дерьмо и посадите новое! Ну!..

О, Дубков хорошо знал манеру Насонова — унижать человека без свидетелей. Он навсегда запомнил свою встречу с ним, которая произошла едва ли не в первый день его прихода в авиашколу.

Андрей был одет тогда в крестьянскую свитку из домотканого сукна и обут в лапти с белыми полотняными онучами, аккуратно, крест-накрест перетянутыми до колен пеньковыми оборками. Из-под большого полинялого картуза с помятым козырьком торчали такие же полинялые, выгоревшие под солнцем, давно не стриженные волосы.

Желающих учиться на летчика было много. Собралось, наверно, человек около трехсот, и ходили они кто в чем. Но, должно быть, именно этот, чисто деревенский наряд и привлек внимание Насонова к Дубкову. Увидев его, он остановился и презрительно спросил:

— Тоже будущий покоритель воздушной стихии?

Курносое, сплошь залепленное крупными веснушками, простодушное лицо

крестьянского хлопца выразило величайшее изумление. Он растерянно рассматривал заговорившего с ним незнакомца. Очень уж необычным был у него костюм: высокие, на шнурках, желтые ботинки, невероятно широкие, щегольские галифе, блестящая кожаная куртка. Вдобавок на голове — бархатная пилотка с орлом.

«Летчик! — думал Андрей. — Летчик!»

А тот стоял и ехидно улыбался. У него были маленькие, в ниточку, черные усики и тонкие злые губы. Такими же злыми, колючими казались и глаза.

— М-да, — протянул он. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

Дубков молчал. Он впервые в жизни видел летчика.

А Насонов понимал, в чем дело. Это развеселило его, и он снисходительно склонился к невысокому худощавому пареньку:

— Послушайте, как вас... Летать — не навоз на телеге возить. По-человечески советую...

— Сам ты навоз! — глухо, но зло сказал вдруг Дубков.

Насонов отшатнулся. Его холеное лицо пошло пятнами.

— Ну ты, хам!

— Уйди, беляк недобитый. Лучше уйди! — вскипел Андрей. Он каким-то внутренним чутьем угадал, с кем столкнулся.

Стычка эта произошла между ними наедине. Ни тот, ни другой никому о ней не сказал. Однако судьба свела их снова. Когда Дубков закончил курс теоретической подготовки, его определили учетом именно в ту группу, где инструктором был Насонов.

Фамилии названного учителя Андрей еще не знал. Ему сказали, в какой кабинет идти, он и явился. Зато Насонов был взбешен. Багровея, сорвался на крик:

— Пошел прочь, лапоть!

Андрей кинулся к Лихареву. Выслушав его, Иван Федорович озадаченно покачал головой:

— Да, Андрюха, закавыка. Безусловно, тип этот — чужак. Да, понимаешь, летчик он сильный. Знает себе цену, вот и выкобенивается. Ну да ладно. Это самое, идем к нему...

И опять Дубков подивился характеру бывшего поручика. Полчаса назад он грубо выгнал его из кабинета, а теперь, с Лихаревым, встретил так, будто ничего особенного между ними и не произошло. Церемонно поклонился, даже руку подал. Рука у него была нерабочая, мягкая, взгляд насмешливый, наглый.

— Прошу вас, прошу. Садитесь, пожалуйста...

На столе перед ним лежал раскрытый английский журнал «Аэроплэн». Некоторые строки в тексте были подчеркнуты синим карандашом.

— Вы видели, что здесь пишет мистер Грей? — спросил Насонов, как будто Лихарев и Дубков зашли к нему для приятной дружеской беседы. Ткнул пальцем в середину страницы: — Вот... «Хотя имеется, бесспорно, некоторое число русских, которые могут сделаться превосходными летчиками, но большинство из них совершенно неспособно...»

— Вы неточно переводите, Константин Юрьевич, — перебил Лихарев. — Там сказано, что большинство русских неспособно содержать в исправности такую это... сложную технику, какой является авиационная.

— О, мне нравится ваша осведомленность. Положительно нравится. — Насонов натянуто улыбнулся, но тут же торопливо опустил глаза. Только напрасно он делал вид, что повторно читает текст: его аккуратно зачесанный пробор порозовел, выдавая смущение. — Да, действительно. Выходит, начинаю хромать в английском. Хотя стойте, можно понять и так.

— Извиняюсь, Константин Юрьевич, но вы знаете, что не так, — жестко перебил Лихарев. — Не мне вам рассказывать, как работают наши инженеры и механики. И потом это — «Илья Муромец». Машина! Четыре мотора, да. Таких тяжелых бомбардировщиков пока еще за границей нет. Ни в одной стране. А у нас есть. Вот. Нашим конструктором создан,

русским. Да!

— Согласен, — кивнул Насонов. — Безоговорочно согласен. Но зато летчики высокого класса у нас наперечет.

— Будут и летчики, — уже спокойнее возразил Иван Федорович. Помолчав, уверенно добавил: — Будут.

— Сомневаюсь. Вы, большевики, подчас наивны. До чего доходит — даже здесь, в авиашколе, основной дисциплиной вводите марксизм. У меня на сей счет мнение несколько иное. По «Капиталу» летать не научишься.

— Неостроумно, — рассердился красвоенлет. — Вы намекаете: «Я не марксист, а летчик первоклассный». Но это тот же Грей. А вот ответ вашему Грею по-русски. — Лихарев достал из кармана газету, развернул, громко прочитал: — «Пришла пора строить и учиться. Будет у нас такой воздушный флот, что изумленные Европа и Америка ахнут перед чудом лапотной России в небесах».

— От одних благих намерений крылья не вырастут, — холодно бросил Насонов.

— Ладно, к черту светские разговоры! — теряя терпение, нахмурился Лихарев. — Объясните, почему вы гоните Дубкова.

Андрей до сих пор сидел молча, смотрел, потупясь, в одну точку. От напряжения у него вспотели ладони. Он потянулся было вытереть их о штаны, но, заметив, как презрительно, безглаголиво скривил губы Насонов, со злостью сжал кулаки.

Услышав свою фамилию, улет с вызовом вскинул голову. Его взгляд вонзился в Насонова, как кинжал.

Однако тот и бровью не повел. Отвечал рассудительно, с подчеркнутой невозмутимостью. Чего уж тут дипломатию разводить — он понял, сразу понял причину данного визита. Для Ивана Федоровича, конечно же, не секрет, что его протеже вел себя по меньшей мере бестактно. Впрочем, бог ему судья, молодой еще. Да и не в этом суть. Всем давно известно, каких людей инструктор Насонов подбирает в свою группу. А разве приемная комиссия придерживается иных принципов? Нет, пока точно таких же. Сколько было желающих? Около четырехсот. А сколько принято? Двадцать пять. Ну, а сей юноша прошел явно по ошибке. Он до недавнего времени, надо полагать, не только летательного аппарата — даже автомобиля вблизи не видел. И насчет грамотешки у него...

— Константин Юрьевич, — прищурясь, будто собираясь улыбнуться, сказал Лихарев. — У меня это... тоже всего три класса. Вот и все образование.

— Вполне допускаю, что вы — талантливый самородок, — отозвался Насонов. — Но нельзя же считать самородком каждого встречного.

Сдерживая раздражение, которое в нем вызывал этот холеный щеголь, красвоенлет встал:

— Ну что же... Тогда Дубкова возьму я.

Ответа Насонова Андрей не слышал. Его душила обида. Он, не прощаясь, первым шагнул за порог.

Лихарев догнал ученика уже во дворе. Долго шел молча. Потом негромко спросил:

— Ты чего?

— Чего, чего! — со злостью обернулся Дубков. — Такие вот гады батьку моего расстреляли. А с ними цацкаются. До каких пор? По какому такому праву?

— Но, но! — Иван Федорович от неожиданности даже остановился. — Ты говори, да не того... Не того... Нельзя же всех под одну гребенку. Да ты погодь, погодь! — Он повысил голос: — Постой, если зову!

Андрей опустил голову, чтобы Лихарев не видел его слез. Тот все понял и, догнав, заговорил более сдержанно:

— Ежели хочешь знать, я тоже от ихнего брата натерпелся. И насчет этого типа к комиссару ходил. Вот. А он что? Революционную дисциплину соблюдать надо, вот что.

Дубков совсем по-мальчишески, кулаком вытер мокрые глаза. Со всхлипом вздохнул. А

Лихарев, утешая его, бодро добавил:

— Не вешай носа, Андрюха-горюха. Ты будешь летать. Видишь лозунг? То-то...

Они подходили к ангару. Там, над воротами, висело большое кумачовое полотнище. На нем аршинными буквами было написано: «Трудовой народ, строй воздушный флот!»

С того дня минуло ровно три недели. За это время Андрей успел сделать десять рулежек, причем две последние — самостоятельно. Теперь ему можно было переходить ко второму этапу обучения — совершить три ознакомительных полета. Два из них выполнялись по кругу над аэродромом, третий — в зону, где инструктор демонстрировал мелкие, «тарелочкой», развороты вправо и влево. Лишь после этого ученика допускали к вывозной программе.

Летали в школе только ранним утром, когда воздух был спокоен. На аэродром авиаторы выходили затемно. Днем, когда пригревало солнце, начиналась рема, или, проще говоря, болтанка, напоминающая сильную морскую качку.

Не менее опасным был порывистый ветер. Он иногда опрокидывал летательные аппараты в момент приземления.

Сегодня день обещал быть тихим. Полосатый палец матерчатого ветроуказателя, укрепленный на высоком столбе, висел совершенно неподвижно. Ни единый листок не шевелился и на кустах, окаймляющих летное поле.

И все-таки Андрей, ожидая приобщения к таинству полета, не мог унять беспокойства. Наверно, очень это мудреное дело — летать. Вон в группе Насонова уже два учлета подали рапорты об уходе из авиации «за отсутствием летных данных». Всем, конечно, хорошо понятно, под чью диктовку написали они такие слова, но не исключалось, что парни действительно оказались неспособными.

«Может, и я не гожусь в летчики, кто знает», — с тревогой думал Дубков.

— Чего пригорюнился, Андрей-воробей? — прервал размышления учлета голос Лихарева. — Ждешь, что опять пошлю на ангар? Нет, нынче твоя очередь лететь первому. Давай в самолет!

Дубков растерянно замигал, хотел что-то спросить и не вымолвил ни слова: от волнения у него язык точно прилип к зубам. А в следующую секунду он почти бегом спешил к машине.

Аэроплан у них был старенький. Его крылья пестрели разноцветными заплатками, на гондоле краска выцвела, потрескалась и местами облупилась. Металлические расчалки между плоскостями, спицы колес казались рябыми от налета ржавчины. Но не зря механик и моторист со своими помощниками буквально сутками напролет возились возле летательного аппарата. Тендеры тросов были аккуратно законтрены проволокой, шарниры щедро смазаны маслом, а стеклянный козырек надраен до зеркального блеска.

На центроплане, как половик на крыльце, лежал разостланный механиком брезент. Дубков старательно вытер о него мокрые от росы сапоги и лишь после этого занял место ученика. Лихарев сел в переднюю кабину. Обернувшись, предупредил:

— Рули не трогать!

В пилотском шлеме лицо инструктора было незнакомо-чужим и сердитым, непривычно большим казался его нос. Ни дать ни взять клюв насторожившейся птицы. И вообще, что-то гордое, птичье сквозило сейчас в каждом движении, во всем облике этого немолодого грузного мужчины. Вот он быстрым, цепким взглядом окинул ровное как стол поле аэродрома, убедился, что оно свободно, и поднял руку.

Механик и моторист, толкнув пропеллер, тотчас отскочили в сторону, Лихарев дал газ. Самолет затрепетал, задрезжал, рванулся вперед и помчался, набирая скорость, как телега с крутой горы.

Сто лошадиных сил было в моторе. Сто лошадей рванули и понесли эту крылатую телегу. Целый табун. Земля и небо гудели от цокота его стальных копыт.

Неожиданно зеленое поле куда-то провалилось. Ангары, дома, высокие деревья начали на глазах уменьшаться в размерах, потом совсем исчезли из виду. Перед глазами дыбилося оглушающее синее небо, и Андрея поразило странное ощущение пустоты. Он похолодел и судорожно вцепился руками в кресло, совершенно позабыв о том, что его ноги и плечи туго охвачены привязными ремнями.

Вокруг бушевал настоящий ураган. С шелестом обдувая стеклянный козырек, между крыльями свистел ветер. От его злого напора хлипко вибрировали металлические растяжки. Они были пугающе тонкими — того и гляди порвутся. Но аэроплан летел, и учлет, постепенно осмелев, выглянул из кабины.

У него захватило дух. Вот это да! В мягком утреннем свете вокруг без конца и без края разметнулась туманно-зеленая гладь. Там, наверно, только что прошла беззаботная спресонок невеста. Она обронила на росистом лугу голубую ленту, и эта лента стала рекой. К берегу, по склону холма, лениво, словно на водопой, брели крытые соломой хаты. На усадьбах размыто белели цветущие сады.

Чуть поодаль виднелась вторая деревня, за ней — еще одна. Между ними, на взгорке, стояла четырехкрылая ветряная мельница. По черным, недавно распаханым полям были разбросаны купы деревьев. В стороне, точно выточенная из рафинада, одиноко и важно возвышалась колокольня церкви с позолоченным куполом. А впереди, куда, петляя, убегала узкая полоска серой дороги, над необозримым, сверкающим пространством широко раскидывала свои прозрачные крылья алая заря. Аэроплан невесомо плыл в заголубевшем небе, и все было похоже на сказку.

— Ну как? — оглянулся инструктор.

Учлет не знал, что и сказать. Он не находил слов, которыми можно было бы передать охватившие его чувства, и сидел как в счастливом полусне.

— Видал красоту? — громче выкрикнул Лихарев. — Это она — Россия, земля наша. Гляди, Андрей, гляди...

Переговорное устройство на самолете представляло собой обыкновенный резиновый шланг с раструбом на одном конце и с жестяным «ухом» на другом. Поэтому Дубков не разобрал последних слов. «Лети, Андрей, лети», — послышалось ему, и он обрадованно спросил:

— Разрешите взять рули?

— О! — засмеялся красвоенлет. — Герой! Но погода, браток, погода. Всему свое время...

Пять минут промелькнули, как одна. Круг был сделан, и аппарат пошел на снижение. «Мало, — с сожалением подумал учлет. — Еще бы немножко». Но что это? У посадочного знака, выложенного на аэродроме в виде буквы «Т», правое полотнище загнута, и финишер, высоко подняв руку, вместо белого флажка держит красный. Посадка запрещена: неисправно правое колесо шасси.

У Дубкова тревожно екнуло сердце. Что же теперь будет?

Неуютным, холодным показалось небо. Озираясь, учлет повернул голову и увидел, что концы плоскостей дрожат, будто машина испытывает приступ смертельного страха.

А Лихарев уже уводил аэроплан от земли. Он знал, что при посадке с поврежденным колесом, как ни осторожничай, не избежать аварии. Тогда его ученики останутся «безлошадными».

Почему-то вспомнилось — этого слова не любит Насонов. Ворчит: «Темная деревенщина тащит свои грубые понятия даже в авиацию. Вот до чего дошло — летательный аппарат сравнивают с захудалой клячей».

Нет, Константин Юрьевич, за таким выражением стоит нечто большее. Голодом, кабалой у богачей оборачивалась для бедного крестьянина потеря единственного коня. Учлетам так же тяжело остаться без самолета. Катастрофа разом отодвигает на

неопределенное время их летную практику. В школе пока что каждый аэроплан на счету.

И парнишку жаль. Убиться они не должны, но страху натерпится при поломке — факт. Вряд ли он тогда станет летчиком.

Красвоенлет оглянулся. Лицо Дубкова было по-детски растерянным, бледным. Понятно: не ожидал, что придется так скоро, в первом же полете, столкнуться с опасностью.

Но что же все-таки произошло? При старте грубых толчков не было, отделилась машина от земли без удара. Загадка!

Высота — тысяча метров. Лихарев плавно перевел аппарат в режим горизонтального полета и приказал Дубкову:

— Возьми управление!

Учлет не понял. Он только что просил рули, но ему не дали, а теперь... Или, может, они пойдут на посадку, когда выработают горючее? Аэроплан станет легче и не загорится при аварии. Но неужели сейчас Лихарев будет учить его пилотировать?

— Веди самолет, — повторил инструктор. — Чего же ты?

Андрей поставил ноги на педали, взял ручку. В первый момент машина продолжала идти по прямой, и это несколько ободрило учлета. Но едва он шелохнулся в своем кресле, как аппарат начал валиться влево. Дубков тотчас подал ручку вправо, однако аэроплан не выровнялся, а рывком наклонился вправо. Потом испуганному ученику показалось, что его подхватили и понесли, швыряя из стороны в сторону, разбушевавшиеся волны. В отчаянии он бросил рули.

— Да не надо его это... дергать. Я же объяснял — плавнее, легче. Смотри! — Инструктор вывел аппарат из крена и снова заставил взять рули. — Не бойся, пробуй. Во...

Так повторялось несколько раз, и у Дубнова стало что-то получаться. Во всяком случае машина подчинилась ему. Вернее, она притворилась покорной, потому что временами пыталась незаметно задрать нос. Однако Андрей был настороже, на хитрость отвечал хитростью. Он легонько, будто украдкой, подавал ручку от себя, и самолет послушно опускал стрекочущий мотор к черте горизонта.

Сосредоточившись, учлет забыл обо всем, кроме необходимости осторожно, соразмерно поведению аэроплана, двигать рулями. Он забыл даже о Лихареве и очень удивился, услышав доносившиеся из передней кабины непонятные звуки. А когда напряг слух, удивился еще больше: Иван Федорович пел! Руки инструктора, одетые в черные кожаные перчатки-краги, лежали на бортах, а он весело распевал про удалого Хаз-Булата и его молодую жену.

«Да он же отпустил рули. Совсем отпустил!» — ликующе подумал Дубков. И как бы подтверждая его мысли, раздался голос Лихарева:

— Хорошо, Андрей, хорошо! Видишь впереди церковь? Держи направление на этот божий храм. Может, и не совсем тот ориентир, зато приметный.

Он помолчал, наблюдая за действиями учлета, и опять затянул свою песню, словно сидел не в раскачивающемся аэроплане, а за праздничным столом. И ничего не было ему жалко — ни золотой казны, ни коня, ни кинжала, ни винтовки, — только бы заполучить у Хаз-Булата жену.

Шутливый тон Лихарева, его бесшабашная песня совершенно успокоили Андрея. В нем пробуждалась какая-то незнакомая сила. Он видел, что ведет самолет уже довольно сносно, и верил, что сумеет вести еще лучше.

— А ты, я вижу, парень с головой. Цепкий, — похвалил инструктор.

Учлету так приятно было от этих слов, что до него не сразу дошел смысл следующих:

— Ну, так вот... это... Держи по горизонту. А я сейчас вылезу, гляну, что там.

И прежде чем Дубков успел открыть рот, Лихарев уже был на плоскости.

Аппарат качнулся. Андрей побледнел. Что, если... Ведь парашютов у них нет. И он крикнул:

— Я полезу! Лучше я!

Крепко держась за борт, инструктор шагнул к кабине учлета, ласково склонился к нему:

— Видишь — сам летишь. Сам! Вот и держи. Вот так, вот так.

Он дотянулся до ручки и показал как: безо всякого усилия, двумя пальцами. Проще простого. Проще пареной репы. А ногами шуровать не надо. Следи, чтобы педали стояли нейтрально, без перекоса, и все.

— Понял?

Дубков, покорясь, молча кивнул головой. Ладно, мол, попробую. Постараюсь. А Лихарев цепко ухватился правой рукой за расчалку между плоскостями биплана, присев, лег на крыло и подтянулся к его передней кромке. Потом заглянул вниз, выругался сквозь зубы и полез назад.

— Там патрубок в спицах, черт бы его побрал. Наверно, оторвался от мотора на взлете. Попробуем вытряхнуть, а?

Радуюсь тому, что инструктор вернулся в кабину, Андрей был согласен на все что угодно. Но не успел он опомниться, как машина вдруг завертелась сначала в одну сторону, затем в другую, перевернулась через крыло и устремилась вниз. Учлета то вжимало в кресло, то выдирало из него, и он повисал на ремнях. Земля и небо то и дело менялись местами. Дубнову казалось, будто его мотает на гигантских качелях. Наконец бешеный рев мотора снова стал ровным, ритмичным, и Лихарев весело прокричал:

— Ну как?

Учлет еще не перевел дыхания, но постарался улыбнуться. Он догадался, что инструктор выполнял высший пилотаж. Крутил, наверно, и бочку и «мертвую петлю». Мертвую! Да, не зря ее так называют, не зря.

— А теперь поддержи в горизонте еще чуток, — продолжал между тем Лихарев. — Надо посмотреть, чего мы добились.

— Нет! Нет! Теперь я! Я! — торопливо закричал учлет.

Неуправляемый аэроплан повело вбок. Инструктор прищурился, будто собирался улыбнуться, и показал Дубнову кулак. Андрей схватил ручку, потянул на себя. Получилось. Не могло не получиться. Он умеет править. А ежели умеет, значит, должен. Теперь уже недолго. Немножко. Самую малость. Чуток.

Надеясь, что все закончится быстро, он ошибался. Вернее, они ошибались вдвоем, вместе с Лихаревым. Когда Лихарев заглянул под плоскость вторично, то увидел, что злополучный патрубок по-прежнему торчит в спицах.

Вот тут и произошло самое страшное. Загораясь отчаянной отвагой, красноелет еще раз погрозил ученику кулаком: «Смотри держи, чертяка!»-и... полез под крыло, на шасси.

Андрей чуть было не заорал. Спихватился, сжал зубы. Сообразил: испортит все.

От испуга он опять плохо управлял самолетом. Машина шла как-то боком, левым крылом вперед, покачивалась и постепенно забирала вправо. В кабину вместе с холодным ветром летели брызги касторки, которую использовали для смазки мотора.

Сердце снова сжало леденящее ощущение пустоты. Андрей почувствовал себя беспомощным кукушонком, очутившимся в чужом гнезде на вершине высокого шатающегося дерева. Он не мог не смотреть туда, где копошился Лихарев, но ему был виден лишь пропеллер.

Все сильнее хлестала касторка. Ее капли стали горячими, несли с собой едкий запах гари. Выбираясь из кабины, инструктор двинул рычаг газа вперед до упора. Он сделал это для того, чтобы зазевавшийся ученик не потерял скорости. Но, работая на полных оборотах, старенький мотор начал перегреваться, тянул все слабее и слабее...

Машина повиновалась Дубкову, но туго. Она явно устала. Она хотела на землю. Глупая самодельная стрекоза не понимала, что без умелого хозяина от нее при посадке останутся одни щепки.

Пропеллер яростно рассекал воздух. В его прозрачном нимбе дробились лучи выкатившегося из-за горизонта ослепительно яркого солнца. Наверно, от этого на глаза учлета набежали слезы. Он не смахивал их, сосредоточив всю свою волю на управлении

самолетом. В возбужденном мозгу застряла одна мысль: «Где же Лихарев?!»

Долго, ужасно долго инструктор не появлялся на плоскости. Неужели упал? Боже, только не это!

Нет, вот он — живой. Перевалился через кромку крыла туловищем и замер. Стремительный воздушный поток подгибал под плоскость его ноги, прожигал тело холодом. Казалось, он вот-вот не выдержит, сорвется. Вцепившись в расчалку, Лихарев все же подтянулся, выполз на центроплан и добрался до своей кабины.

Лишь теперь Андрей провел рукой по лицу, мокрому от слез и пота. Учлет хотел еще спросить у инструктора, сумел ли он вытащить из спиц патрубков, но почему-то не решился.

А Лихарев не оборачивался к нему. Взяв рули, он сбавил обороты, чтобы охладить перегретый мотор, сделал разворот и повел машину к аэродрому.

На аэродроме их ждали целой толпой. Оказывается, когда они ушли в зону, полеты были прекращены. Авиаторы молча следили за одиноко гудящей машиной. Воздух был чистым, и все хорошо видели, как Лихарев ползал по крылу и спускался на шасси.

Едва пропеллер возвратившегося аэроплана оборвал свое вращение, как сильные руки друзей вытащили Лихарева из кабины и подбросили вверх. Летчика качали. А он, смеясь, отбивался и просил:

— Пустите, черти, уроните.

Рядом над группой механиков и мотористов косо взлетал растерянный учлет. Один только Насонов стоял в стороне.

А над землей ярко голубело широко распахнутое небо. Лишь одно белое облачко плыло в вышине. Но оно еще больше оттеняло небесную голубизну.

Младший брат

Не все рождаются и вырастают богатырями. И все же обидно чувствовать себя слабым. Сознаешь: если природа поскупилась отпустить лишний вершок роста, то тут уж ничего не поделаешь, однако все равно досада берет. Смотришь на парней — один к одному, как на подбор крепьши, а ты рядом с ними — подросток. Впечатление такое, будто не в свой класс попал. Только армия не десятилетка, подразделение не класс: в какое отделение определили, в том и будешь служить...

Вначале рядовой Юрий Уткин даже оробел. Начали солдат по ранжиру строить, он в середину шеренги встал, и тут же голос сержанта: «Вот вы... как вас?.. На левый фланг». Пошли на склад обмундирование получать, старшина прищурился и вздохнул: «М-да... Рост у тебя, сынок, не гвардейский». В столовой и то без замечаний не обошлось. Дежурный по пищеблоку понаблюдал, как он ковыряет вилкой в тарелке, и неодобрительно заворчал: «Диетчик, что ли?..»

Но более всех досаждал Юрию его сослуживец рядовой Вениамин Матвеев. Едва оказавшись с ним в одном отделении, он взглянул на парня с высоты своего почти двухметрового роста и, вроде сочувствуя, спросил:

— Что ж ты, браток, невидный такой? Дернула Юрия за язык нелегкая:

— Велика фигура, да...

Осекся. Прикусил язык, но было поздно. Матвеев с укором сказал:

— Эх ты!.. Не браток ты, а младший братик.

С тех пор так и стали называть Уткина младшим братиком. А поводов для этого было сколько угодно. Юрий изо всех сил старался быть не хуже других солдат, но — увы! — не получалось. Он даже постель не умел быстро и красиво заправить, вызывая своей нерасторопностью недовольство сержанта.

Да что там постель! Получили новички обмундирование, недели его — любо посмотреть. Армейская форма делала их взрослее, придавала бравый вид. А Уткин подошел

к зеркалу, глянул на себя — хоть плачь. Мундир ему старшина выбрал самого что ни на есть малого размера, а все равно обвисли плечи и из большого воротника беспомощно торчала тонкая, мальчишеская шея.

Возле зеркала в бытовой комнате толпились, пожалуй, все. Один старательно расправлял складки под ремнем, другой торопливо пришивал погоны, третий гладил электрическим утюгом гимнастерку, а кто-то уже менялся с товарищем брюками и, боясь прогадать, громко спорил. Словом, каждый был занят собой, но Уткину казалось, что кое-кто бросает на него насмешливые взгляды. Боком выскользнув в коридор, он примостился у самого дальнего окна, открыл раму и, хотя стекло не зеркало, еще раз осмотрел себя. Невесело усмехнулся: «Тоже — солдат...»

Из угла, в котором он уединился, была видна добрая половина военного городка. Слева стояло несколько одноэтажных кирпичных зданий: казармы, штаб, солдатский клуб, библиотека, столовая. Справа, в отдалении, дымила труба — там находились баня, прачечная и кочегарка центрального отопления. Чуть ближе — больница, на вывеске которой значилось: «Санитарная часть», а рядом — пекарня, откуда с утра доносился запах теплого хлеба, и еще один, почти не видный из-за дощатого забора, дом — гауптвахта.

Вдоль посыпанных желтым песком дорожек были установлены щиты. На них даже издали можно было прочесть написанные большими красными буквами лозунги и выдержки из воинских уставов: «Приказ начальника — закон для подчиненного», «Воин, заслужи знак отличника!»

«Враг силен, в нем звериная злоба. Солдат! Ты — на посту. Смотри в оба!...»

Почти в самом центре этого необычного населенного пункта, не обозначенного ни на одной географической карте, высились постройки и сооружения спортивного городка, к которому примыкала так называемая полоса препятствий. Здесь же расстился широкий плац. Там ежедневно по нескольку часов солдаты овладевали приемами той не очень-то приятной науки, которая называется строевой подготовкой.

Уткину стало грустно. Вдруг сзади на плечо ему легла чья-то тяжелая ладонь. Вздвогнув, Юрий оглянулся. Рядом стоял Матвеев.

— Ты чего здесь, младший братишка? — не без иронии спросил он и, бесцеремонно повернув Юрия к себе лицом, посоветовал: — Пуговицы чуть правее перешей, подворотничок нитками потуже стяни — в самый раз будет...

С пуговицами Уткин кое-как совладал, а вот с подворотничком зря провозился целый час, до крови исколов иголкой пальцы. А Матвеев ехидно улыбался, недобрый словом поминая маменькиных сынков и белоручек.

Вздвохнув, Уткин вспомнил мать. Да, она, бывало, все норовила сделать для него сама — и пуговицу к его пальто пришьет, и рубашку и брюки отутюжит. «Ты только учись, сынок». А оказывается — этому тоже нужно было учиться.

Неприятности подстерегали Юрия всюду. За что бы он ни брался — ничегошеньки не умел сделать как следует. Подошла его очередь быть уборщиком в казарме — пол подмел неумело, и старшина заставил выполнить эту в общем-то нехитрую работу еще раз. Назначили в наряд на кухню, а там, как назло, картофелечистка испортилась. Пришлось брать нож — палец порезал. Вернулся в казарму усталый, прилег на кровать, а старшина снова тут как тут:

— Рядовой Уткин! Я разве не объяснял вам, что в верхней одежде в постель ложиться нельзя? На первый раз объявляю замечание. Повторите — взыскание получите. Ясно?..

«Куда яснее», — подумал Юрий, вспоминая дом, окруженный дощатым забором. Но так хочется прикорнуть после тяжелого дня!

Он невеселым взглядом окинул казарму. Как по линейке выстроенные, стоят аккуратно заправленные кровати, ровными рядками лежат взбитые подушки, на синих спинках висят полотенца. У изголовья — тумбочки. Одна тумбочка на двоих: верхняя половина — твоя, нижняя — соседа. Только до отбоя к постели лучше не подходи. Устал — в твоём

распоряжении табуретка, присядь. Можно пойти в курилку, но он не выносит табачного дыма. Юрий потоптался в тесном проходе между койками и от нечего делать пошел к доске объявлений.

На красочно оформленном щите, установленном при входе в казарму, дежурный только что приколот листок — план ближайших культурно-массовых мероприятий. Намечались: диспут по книге Алексеева «Солдаты», поход по местам боев, которые проходили поблизости в годы Великой Отечественной войны, занятия в спортивных кружках по боксу, классической борьбе и самбо, сбор желающих участвовать в художественной самодеятельности или в клубе веселых и находчивых, лекция о закаливании организма и, наконец, кинофильм.

— Ого! — послышался сзади знакомый ломкий басок Вениамина Матвеева. — Тут определенно не заскучаешь!

Юрий повернулся и торопливо ушел. Ничто в плане его не заинтересовало, ни в какие кружки записываться он не собирался. Лучше в солдатской чайной посидеть...

Солдатская чайная была своего рода нововведением в военном городке, и многих, особенно новичков, которые еще не привыкли к армейскому пайку, тянуло туда как магнитом. Привлекали их не только «мраморный» линолеум на полах и по-домашнему ярко-веселые занавески на окнах. Там на полированных столах блестели никелем самовары. Ефрейтор в белоснежной накрахмаленной курточке отпускал посетителям печенье, конфеты, лимонад, пряники. Уткин купил батон и бутылку кефира.

На столике в углу, под искусственной пальмой, стоял радиоприемник. Транслировали вальс Хачатуряна из музыки к драме Лермонтова «Маскарад». Слыша и не слыша мелодию, Уткин размышлял о пережитых им за последние дни огорчениях. Замечаний, не прослужив и месяца, он успел уже нахватать, как говорил Матвеев, не менее дюжины. За опоздание в строй. За помятые брюки. За слишком густую смазку на автомате...

«А что поделаешь, если не получается! — расстроено думал он. — Такая нагрузка не для меня...»

Назавтра, готовясь к утреннему осмотру, Юрий разнервничался чуть ли не до слез. Уже прозвучала команда: «Приготовиться к построению!» — а он еще не почистил пуговицы и никак не мог найти асидол. Торопливо обшарил тумбочку — баночки там не было. Попросить у кого-нибудь из сослуживцев? Опять смеяться будут: «Растеряха!» Но как быть? Встанешь в строй с тусклыми пуговицами — наверняка еще одно замечание схлопочешь.

— Что случилось? — подошел к Уткину ефрейтор Николай Горгота. А когда Юрий несмело объяснил ему, отчего разволновался, тот быстро нагнулся, сунул руку под тумбочку и с укором сказал:

— Ох и нерасторопен ты, братец! Баночка-то видишь где?..

Когда пошли на занятия, Юрий смешно семенил позади, то и дело сбивался с ноги, отставал, догонял колонну и снова отставал. Нелегко было, потому что шагали с полной выкладкой: каска, автомат, противогаз, на поясе подсумок с запасным магазином, полным патронов, и набитый до отказа вещевой ранец.

— Все не в ногу, а Уткин — в ногу, — не оборачиваясь, съязвил Матвеев. Кто-то хихикнул, в строю заулыбались, и только громкий голос старшего лейтенанта Никитина: «Разговорчики!» — спас Юрия от насмешек.

На Никитина рядовой Уткин смотрел с обожанием и робостью. В те дни, когда он только что пришел в подразделение, старшему лейтенанту вручили награду — медаль «За боевые заслуги». Юрий, узнав об этом, с восхищением подумал: вот какой у него командир! Поскольку в мирные дни наградили, — значит, отличился. Может быть, даже подвиг совершил. А где и как? Любопытно.

Молодой солдат с нетерпением ждал, что же Никитин расскажет о себе. А он ничего особенного и не сказал. Видно, не из тех, кто любит хвастаться. Представляясь подчиненным, застенчиво объявил:

— Зовут меня Владимир Иванович...

Замаялся, говоря, что ему двадцать третий год, похоже — рассердился на себя за это, и вдруг озорно пошутил:

— Девушки Володей величают...

Все сразу заулыбались и словно облегчение почувствовали: такому подчиняться даже приятно.

На петлицах у Никитина — эмблема связиста: «птички» с красными стрелами молний. Профессия почти штатская — связист. И все же, думалось, не за красивые глаза ему медаль дали.

Старший лейтенант привел новичков в зал, где работали специалисты дежурной смены. Дескать, взгляните, что они делают, и все станет ясно.

А Юрию показалось, что он попал чуть ли не в тот центр, из которого осуществлялась связь с нашими космонавтами во время их полетов в неведомые дали. Что-то подобное он в кино видел.

В просторном, светлом и чистом помещении (вокруг — ни пылинки) все стены от пола до потолка занимали блоки аппаратуры. Людей было очень мало, а в отдельных комнатах — совсем никого. И что еще поразило Уткина — это тишина.

— Вот так вы и работаете? — спросил он.

— Как? — не понял Никитин.

— Ну, в тишине...

— А-а, — с улыбкой протянул старший лейтенант и начал объяснять.

По его словам выходило, что задачи солдат-связистов несложны. Они сводятся к тому, чтобы обеспечить безотказность аппаратуры. Все будет в норме, если ни в одном звене вот этих блоков не возникнет никаких отклонений. Конечно, без дефектов не обойдешься, поэтому механики должны тотчас замечать любую неисправность. Сейчас аппаратура под током, напряжение высокое.

— Так что вы здесь поосторожнее, — предупредил Никитин и стал рассказывать о механиках. Ефрейтор Юрий Стукалов и Николай Горгота освоили две специальности. Рядовой Сергей Кулешов настраивает радиостанцию в два раза быстрее, чем это предусмотрено техническими нормативами. Старший сержант Вячеслав Рысин и сержант Игорь Щенков могут в случае надобности заменить офицера.

Слушая командира, Уткин наблюдал за действиями старослужащих солдат и сержантов. Один из них менял в блоке лампу, напомилавшую размерами причудливой формы графин. Вот механик поставил на ее место новую. Она сразу заалела, накаляясь от тока высокого напряжения, и Юрию почудилось, что в стеклянную колбу упрятали оробевшую перед человеком грозовую молнию.

А в помещении по-прежнему царила тишина, и это как-то не вязалось с тем, что Уткин думал. Тишина и — подвиг...

В этот момент Юрий был очень похож на мальчишку-школьника, который не хочет показать, что ему страшно. Он вдруг отчетливо осознал, что обязан стать одним из повелителей такой сложной и умной техники. Справится ли?..

С того дня Уткин с жаром взялся за учебу. Он с юношеским усердием изучал радиотехнику, и старший лейтенант Никитин был доволен, хвалил его. Но если молодой солдат успевал в теории, то на занятиях по физической подготовке отставал. Товарищи уже начали смело и ловко выполнять упражнения на спортивных снарядах, а он еще даже на перекладине подтянуться не мог.

Про таких (Юрий знал) говорят насмешливо: «Висит как сосиска».

Однако на очередной тренировке вместо ожидаемого: «Эх ты, младший братишка!» — Уткин услышал:

— А давай помогу! Хочешь? — Это к нему подошел Николай Горгота.

Юрий просиял.

Поддержка товарища ободрила его. А характер у него, надо сказать, был. Он быстро

уставал, то и дело срывался, падал с перекладины, но тут же вскакивал: «Подстрахуй еще, пожалуйста!» — и снова, подпрыгивая, цеплялся за перекладину. Горгота чувствовал, как напрягается худенькое тело Уткина, и помогал ему подтягиваться, поднимая под мышки, но Юрий обижался:

— Я сам... Сам... Ты только не дай упасть. Сослуживцам понравилась его настойчивость, и на следующее утро, когда он неумело ковырял иглой, подшивая подворотничок, к нему подсел старший сержант Рысин:

— Смотри, как это делается...

Иголка поблескивала в ловких руках Вячеслава, словно серебряная искорка. «Вжик, вжик...» Проколот ткань, надавил ногтем на ушко, подтянул... Юрий понаблюдал за его работой, попробовал подражать сержанту, и у него шов стал ложиться ровнее. Подшил — белая полосочка аккуратно выступала над воротником. Красиво!

Товарищи наперебой заботились о нем. Ефрейтор Стукалов рассказал о конструкции радиостанции, научил читать схему блоков. Комсгруппорг рядовой Кулешов помог подобрать материалы для подготовки к политическим занятиям, старший сержант Рысин объяснил непонятные вопросы по заданной командиром теме из ядерной физики.

А Горгота снова пошел с Юрием в спортивный зал.

— Это вам Никитин поручил? — спросил Уткин Горготу.

— Что? — удивленно глянул на него Николай.

— Ну, это... Шефство надо мной.

— Чудак! — засмеялся сержант. — Или не нравится?

— Да нет, — замялся Юрий, — но...

Он опасался, что ребятам надоест возиться с ним. Однако все дружно помогали ему. Разве что Вениамин Матвеев иногда пытался сказать какую-нибудь колкость, но однажды Рысин предупредил его, чтобы это было в последний раз. Спустя неделю Матвеев сам подошел к Уткину:

— Ты, Юра, не обижайся.

— Чего там! — обрадовался Уткин. Он был покладистым, добрым парнем, да и свою неосторожную фразу помнил. Смущенно попросил: — Ты меня тоже извини, Веня...

Примирение растрогало его, и он был преисполнен чувства благодарности ко всему отделению. А тут еще посылка от матери пришла. Юрий немедленно распаковал ящик, взмахнул рукой:

— Налетай, ребята!..

Товарищам пришлось по вкусу домашние пироги и яблоки. Только от печенья и конфет все наотрез отказались.

— Это ты себе оставь, — потребовал сержант Щепков. — Ты чай любишь, вот и...

Игорь Щенков — командир отделения. Юрий вначале побаивался его: очень уж строгий. Не вскочишь с постели по сигналу «Подъем!» — ас Юрием это случалось нередко, — он уже одеяло стягивает. Сам за десять минут до пробудки встает. И занимается сержант дополнительно с ним больше всех. Серьезный парень, требовательный.

— Понимаешь, — говорил он Уткину, — вот уже три года наше подразделение отличное. Мы должны удержать это звание. Так ты, будь добр, тоже поднажми. Понимаешь?

Юрий понимал. На собрании комсомольской группы он, как и все, голосовал за то, чтобы каждый солдат заслужил звание отличника боевой и политической подготовки. Да ему и самому хотелось стать таким. Правда, первое время не ладилось с учебой, но теперь, с помощью товарищей, он почувствовал себя увереннее. Только вот физо...

Долгое время Уткин считал, что ему не дано быть спортсменом. Однако служба в армии поколебала его убеждение в том, что физкультурники — люди с какими-то особыми способностями. И первым, кто опроверг такое мнение, был старший лейтенант Никитин. Ростом он чуть выше Юрия, стройный, худощавый, а на груди — значок мастера спорта. И как начнет на перекладине «солнце» крутить — дух захватывает...

«Нет, я так не смогу», — говорил себе Юрий.

А Никитин догадывался о сомнениях юноши и весело рассказывал:

— Я таким замухрышкой раньше был, что стыдно вспомнить.

Уткин верил и не верил. Выходило, что он тоже сможет стать сильным и ловким, если будет настойчиво тренироваться. Да, собственно, он уже почувствовал себя крепче. Бывало, вернется с тактических учений в казарму — рук не поднять. Засыпал сразу, едва голова касалась подушки, и спал до утра как убитый. Теперь по вечерам его все чаще видели в спортивном зале.

Нельзя было не заметить, что в этом хрупком на вид пареньке проснулась разбуженная армейской службой мужская воля. Настойчивость его граничила с самозабвенным упрямством. Зато никто уже не смеялся над его нерасторопностью. Заметно прибавилось у солдата и сноровки, и выносливости. В колонне он по-прежнему ходил замыкающим, но шаг печатал твердо, не сбиваясь с ноги и не отставая от товарищей. И особенно гордился тем, что за меткую стрельбу из автомата командир взвода объявил ему благодарность.

— Служу Советскому Союзу! — отчеканил он. Потом, когда Никитин скомандовал: «Разойдись!» — он подошел к офицеру и, глядя на него влюбленными глазами, доверительно сказал:

— Я, товарищ старший лейтенант, и перекладину одолею!..

Первая благодарность, объявленная перед строем, окрылила молодого солдата. Он знал, что родителям отличившихся воинов из части посылают благодарственные письма, и ему очень хотелось, чтобы такое письмо получила когда-нибудь и его мать.

Жизнь, однако, была нелегкой и более будничной, чем рисовалась в мечтах. Она не часто баловала Уткина удачами. Прошла дождливая осень, наступила зима, а случая особо проявить себя так и не выпало. Один день сменялся другим, и трудностей между тем становилось все больше и больше. От подъема до отбоя солдаты упорно учились военному делу, учились строго по распорядку. С утра — физзарядка, потом — построение на утренний осмотр, а затем — до позднего вечера — в строю.

Когда выпал снег, начали ходить на лыжах. Добрую половину дня — на лыжах, поскольку каждый солдат должен был пройти за зиму значительную в общей сложности дистанцию — пятьсот километров.

Оттепель, мороз до сорока градусов, метель — не хнычь. И Юрий крепился. Потемнело обветренное лицо, на руках появились мозоли, но глаза юноши выражали спокойствие уверенного в себе человека.

Он стеснялся теперь своих недавних, по-мальчишески наивных мыслей о громком подвиге. Понял: есть другой, более реальный подвиг — суровая повседневная служба. Подвиг этот ежедневно совершают все отделения, точнее — многие его сверстники, и надо просто быть таким, как и они. По крайней мере — не хуже их.

И письма, которые он посылал домой, стали более сдержанными. Юрий не жаловался на трудности, не просил, как раньше, чтобы ему прислали посылку или денег. «Дорогая мама, — писал он. — Обо мне не беспокойся, береги себя». Как бы вскользь сообщил матери и о том, что серьезно занялся физкультурой. Он сожалел, что не стал спортсменом до прихода в армию, и спешил наверстать упущенное. На очереди стояла задача научиться лазить по канату.

Однажды Юрий перестарался. Ему надоело продвигаться вверх «черепашьим шагом», и он, придя в спортзал без Щепкова, решил подтягиваться до тех пор, пока хватит сил. Канат, поскрипывая кольцом, которым крепился к ввинченному в потолок крюку, сильно раскачивался, но Уткин не остановился. Вдруг руки онемели, стали непослушными, и Юрий заскользил вниз. От трения ему обожгло ладони, сами собой разжались пальцы, и он упал на пол. Хорошо еще, что внизу был расстелен мат. На ладонях, словно их ошпарили кипятком, вздулись волдыри. Забыв ремень и шапку, Юрий выскочил на улицу, схватил полные горсти снега, пытаясь унять боль, выпрямился — и замер: к нему подходил Никитин.

— В чем дело? — с удивлением спросил командир подразделения. — Что с вами?

— Понимаете, товарищ старший лейтенант... Вот... — Уткин виновато протянул руки, показывая ладони. Лицо его кривилось. Он ожидал сочувствия, а Никитин вдруг принялся отчитывать его.

— Это безобразие! Вы на несколько дней вывели себя из строя. Почему работали без страховки?

— Товарищ старший лейтенант, но я... Но мне... До каких же пор нянчить меня будут? — оправдывался Юрий.

— А если ногу сломаете? — сердито перебил его командир. — Нет, дорогой, надо соображать, где и как о самостоятельности думать.

Голос офицера был строгим, но глаза смеялись. Было видно, что он притворяется, а в душе доволен и настойчивостью солдата, и его выдержкой: больно, но терпит.

— Ну ладно, — уже мягче сказал он. — Бегите к доктору. Только сначала себя в порядок приведите. Где ремень? Шапка где?..

Несколько дней после этого случая рядовой Уткин ходил с забинтованными руками, и Матвеев, помогая ему застегивать шинель, с укором говорил:

— Эх, младший брат, не везет тебе... Кругом не везет.

Юрий хмурился и молчал, а как только на ладонях окрепла молодая розовая кожа, он снова отправился в спортзал, уговорив Матвеева пойти вместе с ним.

И тут случилось неожиданное. То ли вынужденный двухнедельный отдых прибавил сил, то ли сказались упорные тренировки, но Уткин, уверенно перебирая руками, в один прием добрался по канату до потолка, потрогал там для пущей важности металлическое кольцо и спокойно спустился вниз.

— От циркач! — изумленно воскликнул Вениамин. — Здорово! А ну-ка дай я...

— Смотри, и ты руки обожжешь, — предупредил его Уткин.

У Матвеева действительно ничего не вышло. Он не добрался и до середины каната, хотя делал самые отчаянные рывки. Пришлось признать свое поражение.

— Да-а, — сокрушенно сказал Вениамин. — Тяжеловат я, а? Тебе-то что... Ты вон какой...

— Мне тоже нелегко было, — чистосердечно признался Юрий. — А потом раз — и... Я даже сам не ожидал.

— Подумаешь, достижение! — буркнул Матвеев. Помолчав, он с пафосом продекламировал: — «Он в мечтах надменных слышит хор похвал и славы гул...»

— Какой славы? — не понял Уткин. Он с недоумением посмотрел на товарища и, по своему расценив его раздражение, поспешил утешить: — А ты не расстраивайся. У тебя еще лучше получится. Только потренироваться нужно.

— Да ну, — махнул рукой Матвеев. — Зачем мне? Зачета тут сдавать не требуется, так стоит ли мучить себя?

Спорить Юрий не умел. Пожав плечами, он смущенно пробормотал:

— Как хочешь...

Между тем Юрию вскоре пригодилось умение лазить по канату и приобретенная им физическая закалка. Случилось так, что жизнь сама продолжила их разговор с Вениамином.

Уткин проснулся от непонятного шума за окнами. Прислушавшись, понял: на улице ураган. Представив себе, какая сейчас погодка за стенами казармы, Юрий плотнее укутался одеялом и перевернулся на другой бок. Вдруг по казарме разнесся злой голос ревуна. Тревога! Солдаты, вскакивая с постелей, торопливо хватали одежду и выбегали строиться. Через пять минут все подразделение во главе со старшим лейтенантом Никитиным отправилось к месту размещения своей радиостанции.

Высочив за дверь, Юрий в первый момент попятился назад: такой бури он еще не видал. Темнота бурлила и клокотала, снег шрапнелью стегал по лицу; казалось, ураган сейчас опрокинет, перевернет и потащит неизвестно куда. А Никитин, прикрывая рот рукавицей, уже

командовал:

— В колонну по четыре... За мно-ой... Бегом... арш!..

Дальнейшие события Уткин воспринимал как бы в полусне. Оступаясь, он несколько раз падал, его кто-то поднимал и подталкивал в спину. Раздавались чьи-то сердитые выкрики: «Не отставай!.. Смотреть друг за другом... Щеки, щеки потри... Бегом, бегом... Эх!» По лицу что-то текло — то ли тающий снег, то ли пот, а может быть, слезы из глаз. Наконец, шумно дыша, остановились. Никитин охрипшим голосом приказал:

— Прожектор... Дать луч!

Взгляду открылась невеселая картина. В вихре снежинок, которые мельтешили в холодном электрическом свете, словно рой ночных бабочек у фонаря, стали видны колеблющиеся под ветром порванные растяжки мачтовой антенны.

— Упадет! — раздался чей-то испуганный возглас, и Юрий узнал: Матвеев.

— Да, опоздали маленько, — разочарованно протянул Никитин, но тут же, спохватясь, сухо распорядился: — Будем крепить!..

Решение командира показалось Уткину необдуманном. Многометровая мачта могла вот-вот рухнуть под ударами урагана. Чтобы этого не случилось, следовало немедленно прикрепить оборванные металлические стрелы-растяжки к вибраторам. Но для этого надо было подняться почти к самой вершине мачты, что сейчас представлялось почти невозможным.

— Кто полезет со мной? — громко спросил Никитин. Все молчали, будто онемели, застыв в строю. Понимали: Никитин один не справится, ему нужен помощник, но лезть на мачту...

— Я! — раздалось вдруг на правом фланге, и вперед шагнул комсгруппорг рядовой Кулешов.

— Я! — почти одновременно произнес командир отделения сержант Щепков.

В ту же минуту, ничего не говоря, из строя вышли Горгота и... рядовой Уткин.

— Так, — удовлетворенно прохрипел Никитин, — хорошо. Только. Наверно, от морозного ветра голос его прервался, он замолчал, посмотрел наверх, туда, где на тонком шесте мачты беспомощно болтались обрывки стрел, перевел взгляд на тех, кто добровольно изъявил согласие пойти с ним на рискованное дело, и повернулся к Уткину:

— Вы не боитесь, Юра?

Если говорить честно — было страшно. Однако он быстро овладел собой:

— Ну что вы, товарищ старший лейтенант!.. Солдат понимал: их радиостанция должна работать бесперебойно, обеспечивая устойчивую связь с другими аэродромами и самолетами, которые находились в небе при любой погоде. Более того, в ненастье летчикам особенно важно каждое указание командного пункта. Вот почему надо во что бы то ни стало устранить повреждение антенны.

— Уткин со мной, остальным обеспечить страховку. Щенков, запасные тросы, быстро! — скомандовал Никитин.

Юрий торопливо снял с себя бушлат, и они пошли к мачте.

Мачта гнулась, раскачивалась из стороны в сторону, как тростинка. Рукавицы быстро промокли насквозь и, покрываясь коркой льда, скользили по гладкому стволу. А тут еще снег сечет по глазам, дышать тяжело, и по телу током проходит озноб. Одно неверное движение — и вмиг рухнешь вниз. Но ни офицер, ни солдат не останавливались. Медленно, осторожно, сантиметр за сантиметром поднимались они вверх.

Никитин не случайно взял с собой Уткина. Он невысок, худощав. Знал командир и о том, как ловко стал работать этот хрупкий с виду паренек на спортивных снарядах.

Что касается Уткина, то он меньше всего думал сейчас о себе. Сначала, когда командир выбрал его, мелькнула мысль: «Почему именно меня?» Но потом все тревоги и опасения вытеснило единственное желание — не оплошать, и он, стараясь реже смотреть вниз, расчетливо выполнял указания Никитина.

Когда был затянут последний болт, Юрий, обрадовавшись, скинул рукавицы. Он полагал, что так будет сподручнее спускаться, но это оказалось еще тяжелее, чем подниматься. Приходилось то и дело останавливаться, отдыхать, а пальцы на морозе прилипали к металлу. Уткин на последних метрах не вытерпел, заскользил по мачте, обхватив ее ногами, и упал на руки страхующих...

Он пришел в себя от боли: врач растирал ему руки. Остро пахло лекарством, и кто-то сказал: «А еще говорят — младший брат...»

Спустя неделю или две, когда рядовой Уткин уже вышел из санчасти и приступил к исполнению своих солдатских обязанностей, его неожиданно вызвали по телефону на контрольно-пропускной пункт. Недоумевая, зачем его требуют так срочно, он прибежал туда, распахнул дверь и замер на пороге: в приемной комнате, рядом со старшим лейтенантом Никитиным, сидела мать. Оказывается, командир послал ей благодарственное письмо, в котором называл Юрия волевым, настойчивым и мужественным солдатом, а мама то ли не поняла, то ли уж очень удивилась, но в тот же день собралась и помчалась к сыну. Даже телеграмму дать забыла.

Встретили ее приветливо. Провели сначала в спальное помещение, и она, отвернув одеяло, посмотрела простыни, даже рукой потрогала, не влажные ли: все-таки Север! Вообще она держалась так, будто приехала проверить, хорошо ли устроили в армии сына, и старший лейтенант Никитин, сопровождая ее, все время предупредительно говорил:

— Прошу вас, Лидия Николаевна... Пожалуйста, Лидия Николаевна...

Она побывала в комнате боевой славы и в ленинской комнате, в библиотеке и в клубе, в солдатской столовой и в чайной. А когда зашла в бытовую комнату, улыбнулась:

— У вас здесь все на месте.

— Все есть, Лидия Николаевна, все, что нужно, — подтвердил Никитин и, открывая один за другим ящики шкафа, показывал: — Здесь нитки и подворотнички, здесь пуговицы, крючки, а здесь — бритвы... Гладильную доску сами смастерили, зеркала, видите, какие...

Потом ее пригласили пообедать в солдатской столовой и хотели посадить за стол, где сидели сверхсрочнослужащие. Однако Лидия Николаевна попросила, чтобы ей разрешили сесть вместе, с Юрием. И, отведав солдатских щей, похвалила повара:

— Вкусно приготовил. Спасибо...

Она гостила два дня — субботу и воскресенье. Собираясь уезжать, сама попросила дежурного по контрольно-пропускному пункту позвать старшего лейтенанта Никитина и, как бы оправдываясь в чем-то, смущенно сказала:

— Так вы, Владимир Иванович, пишите, если что. А когда будете в Ленинграде, обязательно заходите ко мне. Приму, как самого дорогого гостя.

— Благодарю вас... Непременно, непременно, — говорил старший лейтенант.

Вдруг Лидия Николаевна словно только заметила, как обут ее сын, и, вспомнив, очевидно, что он любил носить легкие полуботинки, шутливо спросила:

— Юрик, а ноги ты как поднимаешь? Сапоги солдатские не тяжелы?

Краснея, рядовой Уткин опасливо покосился в сторону товарищей: не засмеются ли? Нет, даже никто не улыбнулся. Наоборот, все наперебой вступились за него:

— Ну что вы, Лидия Николаевна!..

— Да Юрий у нас знаете какой?.. Помолчав, мать ласково улыбнулась:

— Вы дружите?

Юрий до сих пор как-то и не задумывался над этим, Все солдаты и сержанты относились друг к другу уважительно. И Вячеслав Рысий, и Сергей Кулешов, к Николай Горгота, и Веня Матвеев, и многие другие постоянно заботились о нем, бескорыстно помогали в учебе и в работе. Это было настолько обычным и привычным, что никто не допускал и мысли о каких-то иных взаимоотношениях.

Но Уткин не знал, как рассказать о своих чувствах матери, и только кивнул:

— Да, мы дружим...

Провожал мать Юрий вместе со старшим сержантом Рысиным. До отхода поезда было еще около получаса, но Лидия Николаевна, едва войдя в купе, начала торопить их:

— Идите, ребята, домой.

— Успеем, — успокоил ее Вячеслав.

— Идите, я говорю! — потребовала она. — Вам завтра рано подниматься...

Они не видели, что она украдкой наблюдает за ними из окна. А Лидия Николаевна боялась, что расплечется, и не хотела показывать своих невольных слез. Нет, не от грусти. Разлука печалила, но не тревожила. Ее сын, солдат, живет в хорошем, дружном коллективе. Вот он, не отставая ни на шаг от высокого, плечистого сержанта, идет с ним рядом.

Кто-кто, а уж она-то знала, каким рос ее сын. Болел, бывало, часто и до самого призыва в армию казался хилым, слабым. А сейчас, в солдатской шинели, он выглядел выше, стройнее и увереннее. В жестах его еще видна мальчишеская угловатость, но вместе с тем чувствуется уже мужская солидность. Лидия Николаевна отметила это про себя, и в сердце ее шевельнулось горячее чувство любви к сыну, гордость за него и благодарность к тем, среди которых Юрий чувствует себя как в родной семье.

Песня над облаками

Полет начинался буднично, просто, как это было уже не раз. Да и что, собственно, может быть необычного в работе, экипажа самолета, который в военной авиации именуется весьма прозаически — вспомогательным? У других сногшибательные скорости и головокружительные высоты, реактивные двигатели... А тут еще обыкновенное магнето и полузабытая, как предание, команда: «От винтов!» Потом неторопливый, почти автомобильный разбег — и плыви себе без малейшей перегрузки, будто на прогулочной яхте.

А что, не так? Даже фюзеляж в этом самолете отделан внутри под уютный салон: на полу — ковер, на иллюминаторах — шелковые занавески; и бортмеханика — младшего сержанта Володю Аболина — товарищи дружелюбно называют стюардом.

Сама работа у экипажа тоже вроде не очень хлопотная. Если и приходится иногда волноваться, так это когда генерал куда-нибудь летит. Тут невольно все подтягиваются. А сегодня задание самое заурядное: доставить в район тактических учений двоих офицеров. И лету туда — немногим более часа.

Вылетели вечером. Погода была, как говорят авиаторы, благоприятной. Правда, небо вскоре начало хмуриться, и бортрадист Сергей Дорошенко, который перед полетом побывал на метеостанции, сказал, что на маршруте возможна встреча с циклоном. Но над его словами лишь благодушно посмеялись. Все в экипаже давно знали слабость Сергея к синоптикам — он любил постоять около их хитроумных аппаратов и разноцветных карт, испещренных цифрами и непонятными условными знаками. Однажды, наслушавшись на метеостанции разговоров, он объявил:

— Сегодня день будет жаркий...

— Это почему? — спросил Аболин, заинтригованный таким щедрым для ранней весны прогнозом.

— А потому, — веско отвечал Дорошенко, — что произошло вторжение огромных масс африканского воздуха в атмосферу...

— Боюсь, Сергей Захарович, слышал ты звон, да не знаешь, про что он, — усмехнулся Аболин.

— Посмотрим, — снисходительно отвечал Дорошенко. — Уже и сейчас видно: турбулентность даже здесь, на земле, ощущается, а облачность разорванная, как при прохождении вторичного фронта.

Бортмеханик прямо-таки онемел от удивления: надо же, какие тонкости в метеорологии постиг его товарищ!

Однако, вопреки предсказаниям Дорошенко, день выдался дождливый, холодный, и тут

же Аболин не преминул подкусить новоявленного синоптика:

— Беда, коль пироги начнет печи сапожник! Дорошенко рассердился:

— При чем тут я? Просто откуда-то циклон вывернулся...

— И не простой циклон, а дорошенковский, — под смех окружающих заявил Аболин.

С тех пор так и пошло. Как только не оправдается прогноз, так кто-нибудь и напомнит:

— Опять дорошенковский циклон...

Потому и сейчас предположение Сергея о плохой погоде на маршруте встретили с улыбкой. Получил командир экипажа метеобюллетень, разрешающий вылет? Получил. Так чего еще какие-то страхи выдумывать?..

Никто не вспомнил о словах бортрадиста и тогда, когда самолет, набирая высоту, вошел в облака. В экипаже летчики молодые, смелые. Они не впервые поднимаются в небо, и уж им ли не знать все его капризы! Ну, и командир корабля капитан Борис Николаевич Букетин — летчик, каких поискать. И в тучах, и ночью он пилотирует машину с такой же уверенностью, как и в безоблачном небе.

А по виду, да еще если Борис Николаевич надевает штатский костюм, не скажешь, что это боевой летчик. Посмотришь — этакий добродушнейший человек. Говорит Борис Николаевич мало, больше молчит, а когда приходится надолго застревать на каком-нибудь аэродроме, сразу же погружается в чтение.

Дома у него хорошая библиотека, и он все время ее пополняет. Если экипаж прилетит в большой город, Букетин непременно поспешит в книжный магазин. И как бывает доволен, если ему удастся купить какое-нибудь редкое издание!

Домашняя библиотека Бориса Николаевича — предмет зависти второго пилота старшего лейтенанта Данилова. У него тоже много книг, но у командира экипажа — больше, и Букетин подзадоривает помощника:

— Догоняй, Дмитрий Павлович.

Сейчас эти завзятые книголюбы сидели рядом в пилотской кабине и делали одно дело: вели машину сквозь облака. Пилотировал Данилов. Капитан Букетин передал ему штурвал почти сразу после отрыва от земли, но, когда вошли в облачность, стал внимательно следить за приборами, хотя в управление не вмешивался.

Облака оказались злыми. Они вскоре задали самолету внушительную трепку, и тогда обоим летчикам пришлось приналечь на рули. Насторожился и штурман капитан Жуков: резкие броски сбивали машину с курса; озабоченно сдвинул брови бортехник: не подвели бы двигатели; что-то сердито бормотал себе под нос Дорошенко: атмосферные разряды затрудняли радиосвязь. Но все так же ровно звенели винты, разрывая широкими лопастями серую пелену туч, и от плотной, крепко сбитой фигуры капитана Букетина, который, по обыкновению чуть сутулясь, сидел за штурвалом, так и веяло спокойствием.

Самым беззаботным в экипаже был, пожалуй, «стюард» Аболин. Он изредка поглядывал в иллюминатор, напевая песенку. Это у него привычка была такая — негромко петь, и почти всегда одно и то же. Работает плоскогубцами или ключом — и вдруг затынет вполголоса:

Было у тещеньки

Семеро зятьев...

Заправит баки горючим, воткнет зарядный пистолет в горловину, махнет рукой водителю бензовоза: «Давай!» — и опять:

Стала их тещенька,

Стала в гости звать...

В полете никому и дела не было до того, что он сейчас напевает, но, наверно, снова вспомнил всех семерых зятьев. А что еще делать? По сторонам смотреть — неинтересно: за выпуклым стеклом сплошной туман, земли не видно. О пассажирах беспокоиться не нужно: они мирно беседовали, будто находились не в ночном небе, а в штабном кабинете. «Ко всему привычны, — уважительно подумал о них Аболин. — Даже перед самым стартом не о полете речь вели, а о том, что в районе учений много озер, богатых рыбой. Тоже, видимо, рыбаки-теоретики».

Рыбаками-теоретиками в экипаже называют бортмеханика старшего техника-лейтенанта Городецкого и штурмана капитана Жукова. Куда бы ни летели — у обоих один разговор: а нельзя ли в том краю, если будет задержка, порыбачить? Но на полевых аэродромах экипаж обычно находился после приземления недолго. Выполнено задание, дозаправлен самолет горючим — снова вылет. Вот и получается, что штурман с бортмехаником рыбачат лишь в мечтах — теоретически...

Неожиданно облака на какой-то миг осветились яркой вспышкой. Было похоже, что там, за бортом, полыхнул огонь от беззвучного взрыва.

— Где мы? — обеспокоенно наклонились к иллюминаторам пассажиры. — Не над полигоном ли?

Нет, это сверкнула молния в тучах, и капитан Букетин, пытаясь обойти очаг грозы, уже перевел самолет в режим набора высоты. А гроза где-то рядом... Ух ты, вон как опять полыхнуло!..

Разряд молнии чаще всего не страшен для самолета. Металлическая обшивка играет роль экрана, защищающего экипаж и оборудование. И все же, если не в порядке металлизация и если включены электрические приборы, гроза может вызвать на самолете — пожар. Ведь то, что мы с земли видим как тонкий ломаный луч, представляет собой настоящую огненную реку. «Течет» она максимум полторы секунды, и длина ее не столь уж велика — всего около тридцати километров, но сила!.. Сила такого потока достигает двухсот тысяч ампер, а то и больше.

Сознавая это, капитан Букетин старался быстрее вывести самолет из облачности. И вот над головой снова чистое небо, ярко мерцают звезды. Гроза осталась внизу...

Но что это? Выше самолет не идет: потолок транспортника ограничен; а звезды вверху сверкнули и исчезли, словно их кто-то смахнул с неба. Значит, и там тучи; значит, обойти грозу верхом не удастся. А она как будто только того и ждала: ее драконово дыхание тотчас охватило машину со всех сторон, почти непрерывно заливая лица пилотов холодными иссиня-зелеными отсветами. Огненные всполохи напоминали пульсирующее пламя какой-то гигантской электросварки.

Грома не было слышно, его раскаты заглушало гудение двигателей. Самолет весь дрожал, словно его бил озноб страха. А тут еще одна неприятность: аэродром, куда держали путь, отказался принять «чужой» самолет. Там, удирая от грозы, торопились приземлиться свои.

— Передай кодом, зачем мы к ним идем, — приказал Букетин, и вдруг голос его прервался. Невероятной силы удар обрушился на машину, и в следующую секунду она, треща всеми суставами, рухнула вниз, будто сорвалась с обрыва в самое пекло расвирепевшей стихии. Один из пассажиров вылетел из кресла и покатился по салону.

До тошноты противно ощущение беспорядочного падения в темноте. Перед глазами, словно искры от ударов, замельтешили фосфоресцирующие стрелки приборов. И все же Букетин сориентировался, выровнял чуть было не опрокинувшийся самолет. Он сидел в пилотском кресле как влитой. Только по тому, как напряглась на спине, готовая лопнуть, кожа летной куртки, можно было догадаться, чего стоила ему схватка с невероятной болтанкой.

Воля командира — уверенность экипажа, никто ни на минуту не поддавался панике. Все продолжали заниматься своим делом. Аболин уже помогал подняться упавшему пассажиру; Городецкий щелкал тумблерами, выключая все, что можно было обесточить; Дорошенко, морщась от треска в наушниках, вызывал командный пункт аэродрома назначения; Жуков торопливо настраивал на нужную частоту радиокompас.

Первый натиск стихии был отбит. Но вокруг по-прежнему хлестал ливень, почти непрерывно полыхали молнии. Самолет мчался, лавируя между очагами огненных разрядов, его бросало то вверх, то вниз такими рывками, что скрежетала обшивка. Казалось, снаружи по фюзеляжу колотят огромные кувалды. Каждый бросок вниз напоминал падение в пропасть: стрелка вариометра в секторе «Спуск» вздрагивала далеко за последним делением.

Пассажир, которому Аболин только что помог подняться, не утерпев, шагнул к пилотской кабине, тронул за плечо склонившегося над штурманским планшетом капитана Жукова:

— Владимир Федорович, может, помочь? В таком аду и с курса сбиться не мудрено...

Офицер этот по званию был старше всех на борту. На никому не разрешается вмешиваться в действия экипажа во время полета. Капитан Букетин, обернувшись, сказал:

— Не надо. Не беспокойтесь...

Вспышки молний озаряли кабину, как лучи прожекторов. А когда они гасли, тьма вокруг казалась еще более черной. Эти мгновенные переходы от слепящего света к мраку мешали наблюдать за приборами, и непонятно, как Букетин ухитрился читать их показания. Он вел самолет по чутью, выработанному многолетней практикой.

Как бы там ни было, а экипаж работал, машина упрямо пробивалась вперед. Любой самолет Гражданского воздушного флота давно бы повернул обратно, но Букетин этого не сделал. Он знал: пассажиры должны быть в указанное время там, куда их приказано доставить. Их ждут, без них не начнут тактические учения... Вот так, наверно, в годы войны пробивались к цели экипажи наших боевых самолетов, чтобы нанести бомбовый удар по вражеским объектам или доставить боеприпасы партизанам. И ничто не могло заставить их повернуть вспять — ни плохая погода, ни зенитный огонь, ни атаки истребителей...

Томительно тянулись минуты. Казалось, грозовому фронту не будет конца. Но вот глазам неожиданно открылась россыпь на чистом небе: гроза осталась позади и внизу, а над головой сверкали звезды. Самолет шел теперь необычайно плавно, не летел, а плыл, и ровное гудение двигателей казалось музыкой.

И Аболин снова как ни в чем не бывало затянул:

Стала их тещенька,
Стала провожать...

Колокольчики на аэродроме

Шла вторая половина мая. Над степью с утра приветливо и мягко голубело небо. На раздольном, как сама степь, полевом аэродроме холодно и сочно зеленела трава. В безветренные ночи на нее густо ложилась роса. Тогда в воздухе перед восходом солнца разливалась такая бодрящая свежесть, что сами собой расправлялись плечи и дышалось легко-легко.

Лейтенант Николай Глазунов любил эти ранние часы, когда в воздухе, еще не потревоженном сердитым рокотом двигателей, рождался новый весенний день. Однако в последнее время, выходя поутру на аэродром, он не испытывал той окрыляющей радости, которая обычно охватывала его перед началом полетов. Почему? О, причин было много. А более всего тяготила молодого летчика нехитрая и, казалось бы, давно привычная процедура медицинского осмотра.

С ним творилось что-то непонятное. Ладно бы болячка какая вскочила или прихворнул чуток, так нет, он даже малейшего недомогания не испытывал. А меж тем вспомнит, что перед вылетом надо явиться к врачу, и зябко поежится. Смех, да и только. Как ребяенок, которого напугали уколами.

В самом деле, ему ли опасаться медиков! Он здоров, совершенно здоров. Всякий раз, прослушав его сердце, терапевт восклицал:

— Вот это мотор!

Председатель врачебно-летной комиссии — полковник. Профессор не профессор, а около того. Перед дверью его кабинета замедляли шаг самые отчаянные пилотяги. А Глазунов и к нему шел с беззаботной улыбкой.

При первой же встрече с лейтенантом этот суровый эскулап радостно пробасил:

— Не перевелись богатыри на земле русской!

Он уважительно окинул взглядом крепко сбитую фигуру Николая, ласково, но ощутимо постучал кулаком по его крутым голым плечам, охватил всей пятерней и бесцеремонно помял бицепсы, грубовато толкнул в грудь:

— Без ограничений на любых типах самолетов. Потом, уже поставив под заключением свою размашистую подпись, полюбопытствовал:

— Боксер?

И, не ожидая ответа, понимающе пророкотал:

— Видно, до армии поработал всласть.

— Было дело, — польщенно отозвался Глазунов, вспоминая свое не столь далекое прошлое. Рос он в деревне и рано приобщился к нелегкому сельскому труду. Зато и закалку получил как бы специально для авиации.

— Прирожденный бомбардир, — говорили о нем сослуживцы.

А еще его называли сибиряком.

Вообще-то Николай родился на Орловщине. Но случилось так, что эскадрилья минувшим летом побывала на одном из аэродромов ГДР. Тамошние жители поинтересовались, есть ли среди русских пилотов сибиряки. Тут кто-то и ткнул пальцем в сторону Глазунова.

— О-о! — восхищенно закивали немцы. — О-о!..

Ну и с тех пор так и пошло: сибиряк да сибиряк. Лейтенант поначалу пытался объясниться, а потом смирился, привык. Характер у него был покладистый, спорить он не любил.

Летал Николай с таким же усердием, с каким когда-то пахал. Возьмет штурвал — бомбардировщик словно присмирится, почуяв властную руку. Поставь на плоскость стакан с водой — не колыхнется.

— Есть у парня летная хватка. Не гляди, что молодой, пилотирует классно, — хвалил Глазунова командир эскадрильи майор Филатов, и губы его трогала ласковая усмешка: — Как старик.

Такие слова в устах Филатова были наивысшей оценкой. Что ж, лейтенант ее вполне заслуживал.

Одного не учел почему-то командир. Если молодому парню сопутствует удача, ему начинает казаться, что он может все. А в небе нет торных дорог. Там при самоуверенной безоглядности враз споткнешься.

И Глазунов споткнулся. Причем почти в буквальном смысле этого слова.

В марте летный состав эскадрильи тренировался в прыжках с парашютом. Участвовали все без исключения — и пилоты, и штурманы, и воздушные стрелки-радисты. Прыгнул и Глазунов. А что, мол, велика ли хитрость — шагнуть за борт и дернуть вытяжное кольцо.

Он не посмотрел, куда опускается, и угодил на мерзлую кочку. Левой ногой — на кочку, правая скользнула мимо, и — на тебе! — растяжение.

С того дня и пошло у него все через пень-колоду. Шутка ли — около трех недель хромотал. Летать, конечно, не мог. Допустили после этого к полетам — новая неприятность: не удержал бомбардировщик от разворота в момент старта. Хорошо еще, что на грунте не было колдобин, иначе лежать бы экипажу вместе с машиной вверх тормашками.

Поднялся шум: куда смотрел врач? Почему летчик сел за штурвал с больной ногой? Наказать обоих!

— За что? — вскинулся Николай. — Там — лед. А вы... Проверили — точно: на взлетной полосе под слоем нанесенного ветром песка была довольно-таки большая корка нерастаявшего льда. Попробуй различи его из кабины стартующего самолета.

Только лучше бы лейтенант не оправдывался.

— Смотреть надо! — сердито загремел майор Филатов. — Привыкли, понимаешь, к сухой бетонке. Тот раз кочку не заметил, теперь — лед. На то мы и военные летчики, чтобы с полевого аэродрома летать...

Так и записали Глазунову предпосылку к аварии. Он сник, замкнулся, поклялся себе быть более осмотрительным, осторожным, да все же не уберется. Опять струсилась с ним беда. Да еще какая! При посадке на его самолете подломилась стойка шасси.

Страшно было наблюдать эту картину со стороны. Тяжелая машина резко клюнула носом в землю, передняя, остекленная часть фюзеляжа хрупнула, точно яичная скорлупа. Над подсохшим аэродромом, будто от взрыва, поднялась туча пыли. Густая, черная, она была похожа на дым. Туда, к этому облаку, бежали люди. Обгоняя их, мчались автомобили — пожарный, санитарный и командирский газик.

Нет, пожара Глазунов не допустил. Он, как на грех, не был привязан плечевыми ремнями и от рывка гвозданулся головой о приборную доску. Однако подачу горючего перекрыл, двигатели выключил вовремя.

Когда автомашины, визжа тормозами, остановились возле покалеченного бомбардировщика, летчик, штурман и стрелок-радист, выбравшись из кабины, уже снимали с себя парашюты. Командир экипажа был невредим, только очень бледен, да по щеке у него из рассеченной брови стекала тонкая струйка крови.

Эта струйка насмерть перепугала дежурного врача — лейтенанта медицинской службы Лубенцову. Минувя штурмана и стрелка-радиста, она опрометью бросилась к пилоту. Подбежав, привстала на цыпочки, ощупывая дрожащими руками его голову, а потом вдруг приникла к груди.

Свидетельницей аварии на аэродроме Лубенцова оказалась впервые. Она, наверно, хотела прослушать сердце пострадавшего, да потеряла самообладание и, забыв стетоскоп, прибегла к такому способу. Или кто ее знает, что она там хотела, но летчик был обескуражен. Он покраснел и отстранился:

— Ну что вы, Ирина Федоровна, в самом-то деле! Вы же видите — ничего особенного не случилось.

Тогда Лубенцова, ссутулясь, обиженно отвернулась и побрела к своей машине. А комэск, который до сего момента молчал, укоризненно произнес:

— Что же ты, Глазунов, женщин пугаешь?!

Сердито нахмурясь, майор вытащил из кармана и протянул лейтенанту носовой платок:

— Приведи себя в порядок.

— Спасибо, — буркнул летчик. — У меня свой.

Он забыл даже о том, что должен был доложить о причине аварии. Впрочем, причина была неизвестна и ему самому. Сажал самолет правильно, а вышло черт знает что. Пойдут разговоры, расспросы, дознания. Начнут опять допытываться, не болит ли все-таки нога, не сказался ли вынужденный перерыв в полетах после злополучного прыжка с парашютом. Могут еще и к окулисту послать для проверки зрения: то кочки не видел, то припорошенного пылью льда, а сейчас и вообще плюхнулся будто сослепу. Тут кто угодно заподозрит, что это уже не случайность.

Вопреки ожиданиям летчика, никто его ни в чем не упрекал. Комэск, не требуя объяснений, приказал поднять самолет для осмотра, и все стало понятно при первом же взгляде на изувеченную стойку. Скрытая потеками загустевшей гидросмеси, на ней была давняя трещина.

Края ее успели потемнеть от коррозии, а дальше, словно перебитая кость, зернисто белел излом.

Техническая комиссия тут же составила акт. Поврежденную машину решено было отправить в ремонт, а экипажу временно дали новый бомбардировщик.

— Полетишь? — спросил Глазунова командир. — Не сдрейфишь?

— Полечу, — бодро ответил повеселевший лётчик.

— Правильно; — одобрил Филатов. Будучи человеком дела, он любил энергичных, волевых людей. — А на страхи наплевать и забыть. Для нашего брата всякие там эмоции — непозволительная роскошь. Впрочем, — рассудил майор в заключение, — горячиться и

спешить тоже особо не надо. Разок мы все же слетаем вместе. Порядок есть порядок, и незачем лезть на рожон.

Если комэск поначалу и не очень-то верил в спокойствие Глазунова, то летчику удалось быстро рассеять его сомнения. Уже на следующий день он с безукоризненной чистотой в пилотировании сделал контрольный полет. Чтобы окончательно убедиться в своих выводах, майор запланировал ему еще три вылета по «коробочке», то есть по большому кругу над аэродромом. На каждый такой круг с четырьмя углами-разворотами уходит восемь — десять минут, зато пилот получает хорошую тренировку в выполнении посадки. Лейтенант приземлял машину деликатно, мягко, почти без толчка при касании колес о землю.

— Классно садится, — отметил Филатов и, помолчав, добавил свое излюбленное: — Как старик.

Есть люди, у которых сама наружность говорит о их хладнокровии и смелости. Таким был и Николай Глазунов. Никто не мог заметить ни в его облике, ни в поведении что-то похожее на робость. Но себя-то не обманешь. Продолжая летать, лейтенант чувствовал, что становится не тем, каким был прежде.

Проявилось это и в полетах. Впрочем, не сразу.

В середине мая погоду неожиданно испортил мощный циклон. Над степью долго висели холодные, мрачные тучи, шел нудный, затяжной дождь. Затем, пока подсыхал размякший грунт, экипажи бомбардировщиков вынуждены были работать со стационарного аэродрома.

Командир эскадрильи недовольно хмурился, раздраженно ворчал из-за любого пустяка: ненастье срывало план полетов с грунта. Чтобы лишний раз не расстраивать майора, авиаторы помалкивали, хотя каждый был доволен возвращением на зимние квартиры, пусть даже кратковременным. Там, в поле, очень уж досаждали нынешней весной комары и злая, кусачая мошкара.

А Глазунов — тот и не скрывал своего оживления. Он с видом знатока рассуждал о видах на урожай, о том, как кстати выпал добрый майский дождь.

И летал Николай в эти дни с особым удовольствием. А уж садился на бетонированную полосу — впритирочку. Словно и не было у него недавней аварии.

Передышка оказалась недолгой. Жаркое в тех краях солнце быстро сделало свое дело: степь подсохла меньше чем за неделю. Во вторник все три звена сходили на бомбометание по мишеням на отдаленном полигоне, а в воздухе комэск дал вводную:

— Идем на запасной!

Шли налегке, почти с пустыми баками. Самолет послушнее отзывался на каждое движение рулей. И все-таки, завершая полет, Глазунов пилотировал машину с какой-то странной нервозностью. Под конец он замешкался с визуальным определением высоты, слишком поздно сбавил обороты двигателям и рывком взял штурвал на себя. Бомбардировщик не к месту резво взмыл, затем, потеряв скорость, тяжело просел и от грубого толчка о землю застонал всем своим металлическим нутром.

— В чем дело? — обеспокоенно спросил комэск.

— Рука устала, — буркнул Глазунов. — Слишком долго летали.

Он хитрил, надеясь, что плохая посадка получилась у него случайно. Увы, все повторилось во втором полете, а потом и в третьем.

— Ну, ты даешь! — рассердился штурман. — Так можно без зубов остаться. Что с тобой?

Со штурманом своего экипажа лейтенантом Мишей Зыкиным и стрелком-радистом сержантом Васей Ковалем летчик, как правило, анализировал каждый выполненный полет, а тут лишь виновато взглянул на них и уединился. Да и что он мог сказать, если сам еще не разобрался в собственных ошибках! Стартует — нормально, положит корабль на боевой курс — ни одна стрелка на приборах не шелохнется, а вот при спуске глянет этак метров с тридцати вниз — и внутри у него словно обмякнет все.

Так и кажется, что едва бомбардировщик коснется грунта, как опять раздастся треск,

грохот и скрежет. Мышцы от напряжения деревенеют, левая рука готова сама собой послать вперед секторы газа, а правая машинально ослабляет нажим на штурвал, и самолет выходит из угла планирования.

— Глиссаду держи, глиссаду! — гремит в наушниках предостерегающий голос руководителя полетов. Глазунов, спохватившись, давит руль глубины книзу, но глиссада — воображаемая линия спуска — уже сломана, выпрямлять ее поздно, потому что земля — вот она, рядом. И посадка — комом: то по-вороньи, со взмыванием, то с козлиным прыжком.

А в один из веселых, солнечных дней Николай, находясь в небе, поймал себя на совершенно несурзажном желании: ему не хотелось возвращаться на аэродром. В герметичной кабине было тепло и тихо. Освежая лицо, на пульте по-домашнему ласково шелестел эластичными крыльшками вентилятор, приглушенно, как бы откуда-то издали, тек убаюкивающий гул двигателей. Вот так лететь и лететь бы куда угодно и сколько угодно, лишь бы не вести самолет на посадку.

Лейтенант понимал, что его новый бомбардировщик абсолютно исправен, однако в сердце жило тревожное ожидание, будто и на нем в момент приземления подломятся шасси. Усилиями воли Глазунов подавлял в себе это ощущение, но как только крылатая громадина — такая могучая и такая хрупкая — содрогалась от толчка о грунт, летчик сжимал зубы, чтобы не застонать.

Теперь он сознавал, что с ним. Его снедала та болезнь, которую у авиаторов называют боязнью земли. Точнее говоря, это была нервная депрессия после целого ряда передряг, пережитых в последние месяцы.

Признайся Николай в своем недуге командиру эскадрильи или кому-нибудь из старших товарищей, они наверняка помогли бы ему в самый короткий срок обрести былое равновесие и уверенность. Однако молодой офицер был самолюбив. К тому же он опасался, как бы его вообще не списали с летной работы, сочтя слабовольным, а то, чего доброго, и трусом. «Страх есть страх, в каком бы виде ни проявлялся, — рассуждал лейтенант, — и если пилот не в силах побороть боязни земли, то рано или поздно он может разбиться».

Чтобы начальство или сослуживцы не сделали таких выводов о нем, летчик воевал сам с собой в одиночку. Дорого стоила ему эта душевная борьба. Все сильнее и сильнее становилось предчувствие неотвратимо надвигающейся беды. Уже не только в воздухе, не только в минуту снижения к аэродрому, а еще задолго до вылета он испытывал противную расслабленность. Бывало, утренняя свежесть лишь бодрила его, а теперь вызывала озноб, в то время как лицо пылало.

Первой начала догадываться о переживаниях Николая эскадрильинский врач Лубенцова. Эта девушка была любопытна. Вместо того чтобы спокойно принимать летчиков в медпункте, она частенько бродила по аэродрому, заговаривая то с одним, то с другим из своих подопечных. И вот однажды, поздоровавшись с Глазуновым, она вдруг спросила:

— Уж не больны ли вы, лейтенант? У вас такая горячая рука! И на лице румянец подозрительный. Пройдемте-ка со мной.

— Вечно у вас какие-то подозрения, Ирина Федоровна, — притворно улыбнулся летчик. — Просто я очень быстро шел. К самолету спешу. Так что позвольте зайти к вам через полчаса...

Обычно офицеры, особенно те, кто постарше, относились к Лубенцовой с чувством некоторого превосходства. Они добродушно подтрунивали над молоденькой женщиной в погонах, которая с чрезмерной серьезностью заставляла их, пышущих здоровьем мужиков, ежедневно перед началом полетов мерить температуру и кровяное давление, подставляя для прослушивания голую спину, показывать язык и дышать в какую-то хитрую трубку.

— Помилуйте, Ирина Федоровна, — не раз с досадой ворчал Глазунов. — Вы и вчера меня мучали, и позавчера. Зачем же опять?

— Матерый воздушный волк прикидывается бедным ягненком, — смеялась Лубенцова. — Не выйдет!

К летчикам Ирина Федоровна, по ее словам, была равнодушна, преклоняясь перед их мужественной и гордой профессией. Тем не менее держалась она с завидным тактом и чувством собственного достоинства, решительно отклоняя попытки ухаживания многочисленных гарнизонных кавалеров. А уж в том, что касалось ее служебных обязанностей, Лубенцова была пунктуальной прямо-таки до педантизма. Пилоты, случалось, в сердцах называли ее бюрократом от медицины. Вот и сейчас, как Глазунов ни отбивался, она все же заставила его идти в медпункт и всучила ему градусник.

Нехотя опустившись на покрытый клеенкой топчан, Николай насупленно уставился в окно. Он не мог, не хотел встречаться с Лубенцовой взглядом. У «бюрократки от медицины» была неприятная манера смотреть прямо в глаза, а тут еще она чему-то загадочно улыбалась. Радовалась, видимо, своей профессиональной проницательности. Как же, по внешнему виду, по рукопожатию определила, что у него повышенная температура.

К ее немалому удивлению, градусник показал тридцать шесть и шесть.

— Странно, — вырвалось у нее.

А Глазунова разочарованный голос Лубенцовой развеселил. Он язвительно усмехнулся:

— Ох, Ирина Федоровна, опасный вы человек. Верно все же подмечено: если хочешь летать, не верь врачам своим.

По лицу Лубенцовой скользнула тень смущения, она вроде бы рассердилась и назидательно сказала:

— А мне, Николай Сергеевич, известна другая пословица. Тоже, кстати, авиационная: верить — верь, но проверить — проверь. И напрасно вы ершитесь, вид у вас неважный. Такой, знаете, удрученный, что ли.

— У кого? У меня?! — воскликнул летчик. — Шутить изволите, милый доктор! — Он рывком застегнул на куртке «молнию», приосанился: — Да у меня плечо шире дедова... — Помолчал, вспоминая, и уже с полной непринужденностью продекламировал: — Грудь высокая моей матушки в молоке зажгла зорю красную на лице моем...

— Кольцова в союзники берете? — насмешливо взглянула на него Ирина Федоровна. — Маскируетесь? Ах вы, Коля-Николаша!

— Допустим, — кивнул лейтенант. — И все-таки ваша проницательность, по-моему, основана на ложной примете. Говорят, руки холодные — сердце горячее. Нет, скорее, наоборот. У меня, осмелюсь доложить, просто-напросто пылкая кровь, вот и все. А вы...

— Вижу, вижу, — снисходительно сказала Лубенцова, и в густых ресницах лукаво блеснули ее глаза: — От чего другого, а от скромности вы не умрете.

Она вроде бы поверила показной бодрости летчика и допустила его к полетам. Николай, выйдя из медпункта, облегченно вздохнул, однако позже не мог не заметить, что дотошная врачиха продолжала наблюдать за ним до конца рабочего дня. Он сталкивался с ней то в аэродромном домике, где отдыхал между вылетами, то в столовой во время второго завтрака и на обеде, то возле стартового командного пункта, куда был приглашен для разговора о еще одной неудачной своей посадке. И всякий раз, даже не оборачиваясь, пилот ощущал на себе ее внимательный, как бы изучающий взгляд.

«Чего ей надо, этой бюрократке?» — злился Глазунов, чувствуя, что она догадывается о его состоянии. А еще больше досадовал на самого себя. Распустил нюни — уже со стороны видно. Нет, так не годится, надо завязать нервы тугим узлом!

В очередной летный день Николай явился на медосмотр первым. Лубенцова встретила его на крыльце. Приветствуя ее, лейтенант коснулся пальцами козырька фуражки и сделал вид, что не замечает протянутой ему руки. Тем не менее Ирина Федоровна не обиделась. Она, улыбаясь, зябко повела плечами, пожаловалась, что утро по-весеннему холодное, и, немного кокетничая, нетерпеливо попросила:

— Да погрейте же мне руки, пылкая кровь!

«Вот притвора!» — отметил про себя летчик, а вслух наигранно простодушным тоном воскликнул:

— О, с удовольствием!

Ее покрасневшие от холода пальцы доверчиво легли в широкие горячие ладони Глазунова, и она долго не отнимала их. Но, болтая о пустяках, Лубенцова пристально всматривалась в лицо пилота и вдруг огорошила его:

— У вас сегодня учащенный пульс!

— Вполне возможно, — нашелся Николай. — Вы, хотя и офицер, товарищ военврач, но — женщина. Притом — хорошенькая.

Ирина Федоровна, очевидно, не ожидала такого с его стороны и взглянула на него с подчеркнутой напускной строгостью. А он и без того испугался своей развязности, щеки его вспыхнули вишневым румянцем. Увидев это, Лубенцова рассмеялась:

— Не умеете вы говорить комплименты, Коля-Николаша.

А сама засуетилась, заспешила. Широко распахнув дверь, пригласила летчика в медпункт, усадив на ненавистный ему топчан, сунула под мышку холодный термометр и все говорила, говорила, точно боялась остановиться. По лицу ее блуждало застенчивое и рассеянное выражение, будто, спрашивая об одном, она что-то припоминала и прислушивалась к каким-то совсем другим своим мыслям.

Голос Лубенцовой, как это нередко бывало у него при сильном волнении, доходил до Николая волнами, то словно отдаляясь, то слишком громко. Летчик изо всех сил старался казаться невозмутимым, хотя это давалось ему с трудом, и досадовал на себя за свою мальчишескую стеснительность. В то же время он ни на минуту не забывал, ради чего ведет игру. Главное — получить от этой хитрющей врачихи разрешение летать, потому что ему и в самом деле отчего-то не по себе, а она, конечно, замечает его возбуждение. У нее, видишь ли, руки озябли. Как бы не так! Проверяет, ловит, ищет, к чему бы придраться. Еще бы, она не просто врач. Она — авиационный врач, врач-психолог. И лейтенант, мысленно усмехнувшись, сказал с видом мужчины, у которого задето самолюбие:

— Надеюсь, у вас больше нет ко мне претензий?

— Пока нет, — вяло, вроде сникая, отозвалась Лубенцова и пожелала ему счастливого полета.

Полет между тем оказался не очень счастливым. Собственно, не сам полет, а посадка.

Получилась какая-то несусветная ерунда. Теряя последние метры высоты, Николай впился взглядом в стремительно набегающую землю и вдруг вздрогнул: зелень летного поля была усеяна рыжими кочками. Точь-в-точь такими, какие бывают на заброшенной, давно не паханной местности. Сядешь на этот бугристый участок — хана!..

Сознание тотчас пересилило минутную растерянность. Отгоняя несообразное видение, летчик тряхнул головой, и все стало понятным. Рыжими холмиками ему показались махонькие, почти прозрачные пятнышки, оставленные на смотровом стекле кабины вездесущей мошкаррой. Стекло не протерли как следует перед стартом, и теперь перед чрезмерно напряженным взглядом пилота безобидные темные точки разрослись до невероятных размеров.

Мимолетное замешательство не обошлось без последствий: в момент приземления все решают доли секунды. Сам того не замечая, летчик допустил небольшой крен. Бомбардировщик опустился на одно колесо и, уклоняясь влево, метнулся в сторону командного пункта. Тормоза были выжаты полностью, намертво, но колеса, вздымая пыль, скользили по грунту, не вращаясь. Лишь газанув левым двигателем, лейтенант удержал самолет от дальнейшего разворота.

Командир эскадрильи на этот раз вообще отказался что-либо понимать. Он смотрел на летчика с таким видом, будто тот нес самую бессовестную околесицу. Мыслимое ли дело — на абсолютно ровной посадочной полосе ему примерещились кочки!

— Пойди отдохни и хорошенько подумай, — сердито сказал майор. Это само по себе было неприятным для Николая, а тут еще Лубенцова взглянула на него как-то очень уж странно: то ли с сочувствием, то ли с жалостью, то ли с пренебрежением. Тоже небось думает,

что он слабый летчик. Ну и пусть думает! Только зачем преследует его? Факты для своей диссертации подбирает, что ли? О том, что готовит диссертацию, все в эскадрилье знают, а ему она, наверно, совсем не случайно ничего не говорит. Почему? Да потому что избрала основным объектом наблюдений. Только он не подопытный кролик!

Все больше раздражаясь, Глазунов вспомнил, что Ирина Федоровна в самом деле всегда оказывалась едва ли не первой рядом с ним после каждой неприятности: и после неудачного прыжка с парашютом, и после поломки самолета, и вот сегодня. А взять испытания, которые летный состав проходил в барокамере перед полетами в стратосфере! В тот день Лубенцова тоже почему-то расспрашивала его о самочувствии куда подробнее, чем всех остальных.

И еще одна деталь бросилась в глаза лейтенанту: после его разговора с командиром об этих дурацких кочках врач долго беседовала с Мишей Зыкиным.

Когда они наконец распрощались, летчик не утерпел, подошел к штурману:

— О чем это вы там секретничали?

Зыкин замялся было, потом вдруг сердито сказал:

— О том, что любопытство кое-где неуместно.

Глазунов опешил. Теперь он готов был поклясться, что речь шла только о нем, о его срывах в летной работе.

Смуглое, загорелое лицо летчика стало угрюмым и ожесточенным. Лейтенант решил избегать встреч с Лубенцовой и не знал, как это сделать. Ведь не мог же он не ходить на предполетный медицинский осмотр. А въедливая «бюрократка» вскоре преподнесла ему новый сюрприз. Замеряя у него кровяное давление, она вдруг выпалила:

— Ого! Смотрите, как подскочило!

— Ну и что же? — стараясь говорить спокойно, нахмурился Николай.

— Вообще-то, конечно, ничего страшного, — продолжала Ирина Федоровна. — Просто вы, очевидно, плохо отдыхали. Или, может, выпили вчера, а?

— Да я в рот не беру!

— В таком случае — извините. Только взгляд у вас усталый, и давление... Советую вам нынче отдохнуть. А еще лучше — денька два-три.

— Да вы что! — почти закричал Глазунов. Потом, спохватившись, умоляюще попросил: — Ну, Ирина Федоровна, ну, товарищ военврач, не отстраняйте! Я же не один лечу, я с командиром. И вообще я здоров!

— Нет, нет, — упорно стояла на своем Лубенцова. — Не положено. Не имею права.

Словом, как ни просил, как ни уверял, как ни доказывал летчик, что чувствует себя превосходно, она осталась непреклонной. И комэск ее поддержал. Переглянувшись с ней, он снисходительно усмехнулся:

— Эх, молодо-зелено! Да налетаешься еще, Глазунов. У тебя — все впереди. А пока погуляй три дня, чего там! — Помолчав, майор махнул рукой: — На всякий случай.

Последняя фраза, оброненная командиром как бы вскользь, насторожила Николая. Он растерянно перевел взгляд с Филатова на Лубенцову, и его словно обожгло: да они же сговорились!

От обиды перехватило дыхание. Пряча глаза, лейтенант круто повернулся и почти побежал в сторону лагеря.

Несмотря на то что в последнее время Глазунова преследовали неудачи в полетах, пилот не мог и представить себе, как это так — не летать! Всем своим существом он любил небо, думал только о небе, грезил небом. И то чувство неуверенности, которое охватило его после аварийной посадки, он намеревался преодолеть в себе лишь полетами. А тут — три дня вынужденного перерыва...

Вконец расстроенный, летчик юркнул в палатку и повалился в постель. Не раздеваясь. Лицом в подушку.

У него кружилась голова. Колотилось сердце, и каждый его удар отзывался болью в висках. Словно у больного, горели уши и щеки, все тело получало жар, как при повышенной

температуре, пересохли губы.

— Неврастеник! — со злостью обругал он сам себя, разделся и мгновенно заснул. Только на миг показалось, что койка опрокинулась, и наступило долгое забытьё.

Ночью ему приснился странный сон. Лейтенант видел себя курсантом. На плечи ему ввалили огромный стальной баллон со сжатым воздухом. Он нес его, спотыкаясь на каждом шагу, жадно дышал разинутым ртом и обливался потом. От невероятной тяжести немела спина и поясница, а сбоку насмешливыми глазами следила за ним Лубенцова.

Проснулся Николай совершенно разбитым. Еще день бесцельно валялся в палатке. Попробовал читать, но, водя глазами по строчкам, ловил себя на том, что думает о постигших его неприятностях, а слух напряженно ловит переливы то затихающего, то поднимающегося с новой силой гудения самолетов. Тогда, с досадой отбросив книгу, Глазунов вышел из палатки и побрел в широко раскинувшуюся за аэродромом весеннюю степь.

Углубленный в невеселое раздумье, летчик шел и шел, ничего не замечая вокруг, пока не наткнулся на какие-то невысокие кусты. Здесь он осмотрелся, пытаясь сообразить, где находится, потом безразлично усмехнулся: не все ли равно. И, почувствовав полнейшую отрешенность от всех забот, бессильно рухнул в мягкую, пряно пахнущую траву.

Лежал там Николай долго, может, час, а может, и больше. В кустах тенькали птицы, перелетая с цветка на цветок, озабоченно жужжали пчелы, неумолчно стрекотали и кувыркались в воздухе кузнечики, а он ничего не видел и не слышал. У него устали закинутые за голову руки, но ему лень было даже пошевелиться.

Внезапно совсем рядом зашуршали ветви. Глазунов обернулся и замер: в нескольких шагах от него стояла Лубенцова.

— О, Николай Сергеевич... Здравствуйте! — Видимо, от неожиданности она запнулась, но тотчас осмелела и, прежде чем он успел подняться, мягким жестом остановила его: — Сидите, сидите. Я тоже отдохну немного. Если вы не против, конечно. — Под небрежно повязанной косынкой брови у нее были так темны, будто их прочертили углем, а в прищуренных глазах, полных постоянной готовности о чем-то спрашивать, изумляться и негодовать, играла знакомая Николаю лукавая улыбка. — Не помешаю?

— Нет, нет, пожалуйста, — со странно стеснившимся дыханием пробормотал Глазунов. Он привык видеть Лубенцову в офицерской форме или в белом накрахмаленном халате. Сегодня она была в легких туфельках, в голубом платье, плотно обтянувшем стройную и гибкую, как у спортсменки, фигуру. Этот простенький штатский наряд сделал ее невероятно привлекательной, и летчик смотрел на Лубенцову так, будто в первый раз видел.

«Да она же совсем еще девчушка!» — подумал он, и ему захотелось засмеяться от какой-то неосознанной радости.

Заметив, что Глазунов воззрился на нее с откровенным восхищением, Лубенцова беспомощно огляделась, как бы прикидывая, где присесть. Николай, спохватившись, подал ей свою кожаную куртку и неожиданно для самого себя спросил:

— А почему вы не на полетах?

Не ответив, Лубенцова как-то бочком, осторожно присела на расстеленную куртку и совсем как маленькая девочка певуче протянула:

— Ой, как здесь красиво! И колокольчики... Помните: «Колокольчики мои, цветики степные...» Ну что вы так смотрите на меня, пылкая кровь? Взгляните лучше, сколько цветов помяли, бессердечный!

Она, очевидно, тоже испытывала неловкость, нечаянно встретив его здесь, и прикрывала свое смущение притворной непринужденностью. А лейтенант, сбитый с толку и ее появлением и этим восклицанием, недоуменно озирался то на нее, то на примятую им траву, в зелени которой печально голубели венчики колокольчиков.

— Вот что значит — мужчина, — продолжала между тем Лубенцова. — Ну что для него какие-то там цветочки! Не могли выбрать место, где их поменьше? Ах, Коля-Николаша...

— Да хватит вам, Ирина Федоровна, — перебил ее, овладев собой, летчик. — Вы не

ответили на мой вопрос.

— О, как строго! — улыбнулась она. — Ну, допустим, я решила разделить ваше одиночество. Что вы на это скажете?

— Благодарю, — иронически усмехнулся Глазунов. — Я из-за вас не летаю, а вы вроде бы и злорадствуете.

Она взглянула на него так, словно ждала этих слов, но промолчала, только качнулась вперед и охватила руками колени. А Николаем снова овладело чувство недоверия и неприязни. Уже не сдерживая себя, он с укором заговорил о том, о чем думал в последние дни:

— Да, из-за вас. Я знаю, вы готовите диссертацию. Ну, а я... я, видимо, наиболее подходящая кандидатура для исследований. Как же — неудачник в полетах. Вас интересуют мои эмоции, реакция и прочие психологические нюансы. Ради этого вы и сюда пришли. Разве не так? Сейчас будете вызывать меня на полную откровенность? Напрасный труд. Если хотите знать... Если что-то меня и волнует, то лишь одно — полеты. Поймите, опыта у меня мало. Чтобы его приобрести, нужно больше летать. А вы...

Лубенцова подняла голову, и он осекся: лицо ее было расстроенным, взгляд печальным.

— Ничего вы не поняли, — тихо сказала она. — Просто я видела, что вы очень устали, и мне хотелось вам помочь.

— Помочь! — воскликнул летчик. — Хороша помощь — отстранить от полетов как раз в тот момент, когда мне вот так нужно летать! — Он провел ребром ладони поперек шеи и тут же сделал резкий отстраняющий жест. — Не оправдывайтесь! Это же смешно — лишить меня нескольких посадок для передышки. Да я сделаю их тысячу подряд, если хотите. А, да что там...

— Ничего вы не поняли, — все так же тихо повторила Лубенцова. — Мне, наоборот, очень нравится, что вы такой настойчивый. Но нельзя же быть упрямым. Ваша одержимость граничит уже с безрассудством.

— Ну, знаете ли... — возмутился лейтенант.

— Помолчите, Глазунов! — строго повысила голос Ирина Федоровна. — После аварии у вас было сильное нервное возбуждение. На нервах вы и летали. А еще, по-моему, на честолубии. И не мне вам рассказывать, к чему это могло привести. Так при чем тут я? Я как врач не имела права не доложить о своих наблюдениях командиру.

— Вы не имели права говорить командиру неправду! — глухим от волнения голосом отозвался лейтенант. — Я был в санчасти. Давление у меня нормальное.

— Я знаю, — невозмутимо кивнула Лубенцова. — Мне доложили. И я очень рада за вас. Нервный подъем мог смениться апатией. Этого, к счастью, не произошло.

— Вот как! — вырвалось у Николая. Ему стало стыдно. Он смотрел на нее не отрываясь и подозревал, что ей тоже слышно, как стучит его сердце.

Наступила неловкая пауза. Ирина Федоровна устало выпрямилась, мимолетно проведя рукой по своим густым ресницам, словно сняла невидимую паутину, которая мешала ей смотреть, и по-детски вздохнула:

— Какой вы, право, ершистый! Гляжу иногда и думаю — вот бесшабашная голова!

Николай вдруг почувствовал себя рядом с ней неуклюжим увальнем. Пригладив мягкие волосы, которые от малейшего дуновения поднимались у него петушиным хохолком, он встал:

— Прошу прощения, нам, кажется, говорить больше не о чем. — И резко повернулся, чтобы уйти.

— Коля! — крикнула Лубенцова. — Коля!

— Чего еще? — остановился Глазунов.

Она хотела вроде бы что-то сказать, но, взглянув ему в глаза, лишь грустно улыбнулась:

— Вы забыли вашу куртку...

— Спасибо. Вы очень внимательны, — сухо ответил он и, поклонившись, зашагал в

сторону.

Недовольный и этой встречей, и разговором с врачом — он ведь все-таки был с ней невежлив, — летчик шел, не глядя себе под ноги. Но, склонив голову, он, будто проснувшись, с удивлением заметил, как густо цветут в траве колокольчики. Их было так много, что, казалось, само небо тонким слоем своей нежной голубизны прилегло на землю. Глазунов любил голубой цвет и невольно залюбовался его широким разливом, прямо-таки скрывшим зелень травы.

«Колокольчики мои!..» — зазвенело в душе, и лейтенант пошел увереннее, бодрее. Над ним пели невидимые жаворонки, из-под ног, словно брызги, разлетались стрекочащие кузнечики, а вокруг тишиной и миром дышала неоглядная степь. «Ладно! — как бы споря с кем-то, говорил сам себе летчик. — Ладно. Вы еще посмотрите...»

С такими же мыслями он шел поутру на аэродром. К нему вернулось то приподнято-радостное настроение, которое прежде всякий раз охватывало, его перед подъемом в воздух. И летал он хорошо, и посадки делал, как отметил комэск, одна в одну. Сам Николай не задумывался, что помогло ему: то ли упорство, с которым он ломал себя, то ли трехдневный отдых, принесший ему успокоение и новые силы, но теперь летчик недоумевал, вспоминая о том, что его долго мучило странное и непонятное чувство боязни земли.

Майор Филатов, правда, устроил ему дополнительную проверку. Он полагал, что причиной неуверенности в себе у молодого летчика была непривычная для него обстановка полевого аэродрома. Поэтому майор заставил Глазунова выполнить ни много ни мало тринадцать взлетов и посадок с грунта. В другой раз Николай наверняка счел бы обидным «пилить» по кругу над аэродромом в то время, когда товарищи ходят по дальним маршрутам. А сейчас он только улыбался. Ему доставляло неизъяснимое удовлетворение плавно, с артистической легкостью подводить к посадочной полосе и мягко, невесомо приземлять многотонную крылатую махину.

Отрулив бомбардировщик в конце рабочего дня на стоянку, Глазунов не спеша, с видом слегка утомленного, но готового к новым делам человека подошел к командиру эскадрильи:

— Товарищ майор! Ваше задание выполнено.

Отдав рапорт, он изящно-непринужденно опустил вскинутую к козырьку фуражки руку и встретился взглядом с восхищенными глазами Лубенцовой, которая стояла рядом с майором.

— Хорошо, Глазунов, хорошо, — ворчливо-ласковым тоном произнес комэск. — А теперь вот что. Сегодня сообщили, что отремонтирован ваш самолет. Его надо перегнать сюда. Сделаете это своим экипажем. Командировочное предписание и проездные на всех — у начальника штаба.

То, что майор напомнил в присутствии Лубенцовой о самолете, на котором случилась поломка, было для летчика не очень-то приятно. Но это с лихвой окупалось оказанным ему доверием. Перелет — задание ответственное, комэск мог поручить его любому другому, более опытному пилоту, а он посылает его. И лейтенант радостно отчеканил:

— Есть! Разрешите идти?..

После ужина командирский газик доставил экипаж Глазунова на станцию. А еще через час Николай со своими подчиненными сидел в купе пассажирского скорого.

Много времени отняла приемка и облет отремонтированного бомбардировщика. А задерживаться не хотелось. И как только со всеми формальностями было покончено, Глазунов запросил разрешение стартовать.

Ночью над степью отгремела гроза, отшумел июньский ливень, и, когда летчик, набрав высоту, положил корабль на курс следования к полемому аэродрому, небо было на редкость ясным и чистым. Мерно, успокаивающе ровно гудели двигатели. Перед взором широко расстилались солнечные поля, проплывали красные черепичные крыши деревень, густые купы перелесков, дымящие трубы заводов с тесно обступавшими их городскими кварталами. Казалось, взглядишь пристальнее — различишь в домах даже распахнутые окна.

Постепенно снижаясь, Глазунов долго еще вел бомбардировщик над разметнувшейся от горизонта до горизонта степью, пока различил впереди знакомую, чуть порыжевшую площадку. Вскоре он наметанным взглядом отыскал на ней красную аэродромную «пожарку». Рядом, как всегда, стояла санитарная машина, а чуть в сторонке белели полотнища посадочных знаков.

Эскадрилья, очевидно, не летала, так как самолетов на старте не было. Значит, ждали только его, Глазунова. Он отметил еще, что старт разбит несколько по-иному, чуть под углом к тому, который был накануне.

«Стало быть, там, над землей, ветер. Надо учесть», — догадался летчик и, назвав свой позывной, запросил условия посадки.

Ему почему-то никто не ответил. Нажав раз и другой кнопку передатчика, лейтенант понял, что, по всей вероятности, в радиии сбита настройка. Он приказал радисту:

— Свяжитесь со стартовым командным пунктом.

— Посадка разрешена, — доложил вскоре сержант Коваль. — Предупреждают, чтобы на всякий случай были внимательны.

Глазунов улыбнулся, вспомнив майора Филатова с его обычным «на всякий случай», проверил, выпущены ли шасси, и перевел бомбардировщик в режим планирования.

Все ближе, ближе земля. Еще минуту назад она выглядела однотонно-зеленой, а теперь в этой сплошной зелени начали проступать оттенки. Вот темно-зеленое пятно — там, в низинке, гуще и сочнее трава. Рядом — светлый круг, это, очевидно, выгоревший сухой бугорок; слева будто охрой все обрызгано, там — песок, а впереди... Что такое? Вода? Вода в полосе выравнивания, а может быть, и на посадочной? Неужели от ночного дождя? Если так, тяжелый бомбардировщик увязнет в размокшем грунте...

Мысль еще продолжала аналитическую работу, а руки уже делали свое: левая автоматически послала вперед рычаги газа, правая ослабила нажим на штурвал. Взревели на полных оборотах двигателя, и самолет, набирая скорость, пошел на высоте одного метра над летным полем. Летчик, подавшись к смотровому стеклу, так и напрягся. Потом, взглядевшись пристальнее, весело чертыхнулся: под ним, колеблемые ветром, густо синели цветы. Скорость делала их нежно-голубую пестроту размытой, похожей на светлую поверхность воды.

— Командир! Нас запрашивают, почему не садимся, — доложил сержант Коваль.

— Передай — все в порядке. Сейчас сядем, — спокойно сказал ему летчик. Он понимал, что там, на аэродроме, все встревожены. Может, с машиной что стряслось, а может, с ним, с летчиком? А комэск наверняка подумал о том, что у него, Глазунова, опять боязнь земли.

Нет, такого чувства лейтенант сейчас не испытывал, и это радовало его: он до конца победил свой недуг. И в том он прав, что не стал приземляться. «Не уверен в чем-то перед посадкой — не садись», — всегда учил майор Филатов. Комэск, узнав, в чем дело, одобрит принятое летчиком решение сделать новый заход. Только бы не ошибиться теперь: для третьего круга не хватит горючего.

Выравнивая машину после второго захода, Глазунов работал рулями так, как научился делать это при последних тренировках. Он плавно, мягко, невесомо приземлил послушный его чутким рукам бомбардировщик. Потом, отрулив самолет туда, где его ждал тягач, весело вышел из кабины, небрежно закинул за спину планшет и направился к стартовому командному пункту, чтобы доложить о прибытии. И тут до его слуха донесся прерываемый ветром голос:

— Коля! Коля!

Оглянувшись, Глазунов недоуменно остановился: от санитарной машины к нему бежала лейтенант медицинской службы Лубенцова. Догнав, растерянно взглянула на него и, задыхаясь, спросила:

— Что с тобой? Почему сразу не сел?

— Ну что вы, право, Ирина Федоровна! — смущенно пробормотал Глазунов. Но тут же,

лукаво усмехнувшись, сказал: — Просто я выбирал, где меньше колокольчиков. А их, как назло, вон сколько. Целое море.

— Вы все такой же, — обиженно вздохнула Лубенцова, и странно заблестели ее глаза, и совсем по-детски дрогнули губы.

— Какой есть, — пожал плечами летчик, но его резковатый басок сорвался. Помолчав, он вдруг удивленно сказал: — Ирина Федоровна... А у вас... У вас глаза голубые. Как колокольчики...

Николай порывисто нагнулся, выбрал в траве стебелек цветка, полюбовался его двумя голубыми венчиками и бережно протянул Лубенцовой...

Право на риск

Летчики обычно не любят похвал. Так и Битюцкий, услышав разговор о себе, сразу уходит. Между тем друзья искренне восхищаются его выдержкой и удивительной дерзостью в летном деле и парашютном спорте.

Прыгать с парашютом Битюцкий начал еще в училище. Правда, вначале не повезло ему. Случилось так, что во время своего первого прыжка он, заметив снос, неумело потянул стропы, раскачался и так «приложился» к земле, что после чуть ли не целую неделю хромал. Тут кто-то из курсантов не удержался, сострил:

— Лихой прыгун! Акробат.

Этой необдуманной шутке дали ход, с иронией уверяя, что у Битюцкого любовь к парашюту теперь навсегда пропадет.

Летчиков, как правило, не прельщает парашютный спорт. Многие из них даже несколько свысока смотрят на «парашютчиков». А что, мол, в их профессии сложного?

Любой из нас, если понадобится, сумеет покинуть самолет, а затем дернуть кольцо. И если бы Битюцкий после неудачного дебюта махнул рукой на прыжки, этому бы никто не удивился. Но он не отступил. То ли самолюбие его было задето, то ли неудачное приземление заставило его острее осознать, как важно летчику быть хорошим парашютистом, но он поборол все свои страхи и вскоре добился разрешения прыгнуть еще раз.

Не так-то легко человеку повторить шаг, который едва не столкнул его с опасностью. Битюцкий повторил — и этим сразу завоевал расположение товарищей. А вскоре у него было уже втрое больше прыжков, чем у других курсантов.

Не переставал Битюцкий заниматься воздушным спортом и после выпуска из училища, которое он закончил, между прочим, вместе с космонавтом (в те дни — будущим, разумеется) Валерием Быковским. Летать теперь приходилось все больше и больше, но Битюцкий не пропускал ни одной тренировки по парашютному делу, ни одного десантирования, оттачивая мастерство в своей второй профессии, не менее любимой, чем летная. И когда летчики приступили к отработке катапультирования с истребителя, начальник парашютно-десантной службы майор Борис Кириллович Сафонов сразу же сказал, что первым пойдет Битюцкий.

На аэродроме в тот день были все летчики. Тишина и хорошая погода настраивали на мирный, благодушный лад. Офицеры курили, шутили. Но вот послышался гул приближающегося самолета — и все, разом замолчав, будто по команде, подняли головы.

Отливая в солнечных лучах серебром, истребитель шел на высоте полутора тысяч метров и был отчетливо виден на фоне ярко-голубого неба. Едва он пересек границу аэродрома, как хлопнул выстрел катапульты и над килем самолета метнулся кверху темный клубок. Раздались возгласы:

— Пошел!

— Порядок!

Самое сложное — «выстреливание» человека из кабины мчащегося на большой скорости самолета — осталось позади. Сейчас Битюцкий оттолкнет от себя катапультное кресло, и над ним полыхнет шелковый купол. Сейчас, сейчас... Но почему так долго не

открывается парашют?

Секунда... Пятая... Десятая... На глазах увеличиваясь в размерах, темный клубок стремительно летел к земле. Уже было видно, как парашютист торопливым движением старается оторвать от себя кресло. Но тщетны были его попытки. Почему? Что стряслось?

Падать парашютисту осталось всего пять секунд. Пять секунд и... Все, кто наблюдал эту жуткую картину, замерли в оцепенении.

Между тем в воздухе продолжалась отчаянная борьба. Битюцкий оказался в опаснейшем положении. Один из ремней, которым летчик пристегивается к катапультному сиденью, зацепился при раскрытии за замок подвесной системы парашюта. Зацепился намертво — металлической петлей. А тут еще сильнейший поток встречного воздуха при свободном, ускоряющемся падении.

Случилось такое нежданно-негаданно из-за непродуманной, халатной укладки ремней перед вылетом. А теперь попробуй выпутаться, когда в твоём распоряжении всего несколько считанных секунд!

Поняв, в чем дело, Битюцкий схватил нож. Однако плетеная ткань ремня поддавалась с трудом. Чтобы перепилить его, не хватило бы времени. Как быть?

На коленях у летчика лежал запасной парашют. Спасет ли он в столь опасной ситуации? Ведь рассчитан он на вес до ста килограммов, а теперь, вместе с креслом, Битюцкий весит гораздо больше. Выдержит ли купол такую тяжесть?

Как бы там ни было, медлить нельзя. Битюцкий рванул кольцо, схватил выползающий из ранца купол и с силой отбросил его в сторону, чтобы он как можно быстрее наполнился воздухом. Возможно, приземление вместе с креслом не обошлось бы все-таки без неприятностей, но динамический удар вырвал летчика из сиденья. В следующий момент он ощутил сильный толчок о землю.

Когда к Битюцкому подскочила машина, он уже стоял на ногах.

— Жив? — кинулся к нему Сафронов. Богатырь, настоящий Илья Муромец, он сгреб летчика в объятия, как мальчишку. Но тот отстранился, стесняясь излишнего проявления чувств, и ровным голосом сказал:

— Подожди. Закурить надо.

Он казался спокойным, вернее, хотел казаться таким, но очень уж неловко и долго совал в карман то одну, то другую руку и все не мог достать папиросы.

— Да ты взгляни на свои «грабли»! — нервно засмеялся Сафронов.

Битюцкий поднял руки. Кисти и в самом деле напоминали грабли: уставшие от огромного напряжения пальцы словно одеревенели, не гибались.

— Сейчас, сейчас я спиртом, — засуетился врач.

— Зачем добро портить? — усмехнулся Битюцкий. — Лучше того... вовнутрь.

— Он еще шутит! — возмутился врач. — Шутит, перешагнув грань невозможного. В машину давайте!..

А через несколько дней Битюцкий катапультировался опять. И снова первым в группе.

За тот, ставший памятным на всю жизнь, прыжок Битюцкого наградили наручными часами. На них были выгравированы слова: «За хладнокровие и мужество при катапультировании».

Так же хладнокровен и смел был Битюцкий и в полетах. Уж на что обычно сдержан в похвалах командир части, но и тот, проверив его технику пилотирования при самом жестком минимуме погоды, сразу проникся к нему симпатией и сказал, что из него, если не зазнается, будет отличнейший перехватчик со своим почерком.

Битюцкий из тех людей, кто зазнаваться просто не умеет. К тому же его не очень-то и хвалили. Инструкторы за все элементы полетов, как правило, ставили ему «пятерки», но почему-то каждый раз, разрешая самостоятельный вылет, предупреждали:

— Только без отсебятины.

— Понял, — говорил Битюцкий и... «порол отсебятину». Чуть что — в эфире раздавался

голос руководителя полетов, который, назвав его индекс, приказывал:

— Меньше скорость!.. Плавнее!..

— Понял, — отвечал Битюцкий.

Но если он заходил на посадку, то непременно с «истребительским» профилем выравнивания, а если атаковал воздушную цель, то обязательно применял самый дерзкий маневр. Дистанции сближения с «противником» летчик не нарушал, но подчас казалось, что он вот-вот столкнется с ним. Доставалось ему после на разборах полетов, но выяснят все детали, дешифровав пленку фотопулемета, — никаких отклонений от нормативов, просто расстояние до цели было таким малым, о котором говорят «предельно допустимое».

— А мы уже думали — ты на таран пошел, — говорил Ивану Валентин Орел.

Сам прирожденный летчик, командир звена капитан Орел любил Битюцкого за истребительную хватку, но это, впрочем, не мешало ему подтрунивать над сослуживцем. Таков уж он по характеру, стихотворец и баснописец Орел: остер на язык, скор на шутку.

— Тебе какие часы вручили? — улыбался он. — Со звонком? Вот и заводи, как будильник, чтобы знать, когда выходить из атаки.

Битюцкий не носил часы-награду, — очевидно, дорожил ими. Орел и это заметил.

— Бережешь или скромничаешь? — допытывался он.

— Угу, — усмехался Иван. — Берегу. Рифмуется? То-то. Не один ты у нас в стихах кумекаешь.

Вообще-то Битюцкий не прочь был, наверно, и похвалиться наградой. Лестно все-таки, если тебя отмечают. Летая мастерски, Иван быстро стал летчиком первого класса, держался в кругу сослуживцев уверенно, независимо и при случае говорил, что у него, мол, кое-чему могут и орлы поучиться, хотя они и в командирах ходят. Однако с течением времени он становился все более сдержанным, даже замкнутым. Как-то после одного рискованного полета он около месяца был вообще не в себе. Будто его из колеи выбили. Впрочем, как ему было оставаться спокойным, если выходило так, что он в одно и то же время вроде бы и герой, и разгильдяй.

— Ну и заварил же ты кашу! — воскликнул Орел.

— Так уж получилось, — отмахнулся Иван.

А получилось вот что. В один из пасмурных дней Битюцкий обозначал своим самолетом цель. Когда задание было выполнено, он, идя за облаками, взял курс на ближайший аэродром, где должен был произвести посадку. На некотором удалении за ним шли еще два истребителя. И вдруг летчики увидели, как машина Битюцкого взмыла кверху, одним махом набрав до полукилометра высоты, затем так же круто метнулась вниз и опять вверх.

Ведомые шарахнулись в стороны. Небезопасно находиться вблизи от беспорядочно мечущегося на звуковой скорости истребителя. А каково же тому, кто находится в кабине?

— Что случилось? — запросил по радио идущий рядом Валентин Панасенко.

Битюцкий не отвечал. Ему было не до того. Обеими руками вцепившись в ручку управления, он пытался удержать взбесившуюся машину, заставить ее повиноваться. Огромные перегрузки то впрессовывали его в сиденье, то отрывали так, что казалось, вот-вот лопнут привязные ремни.

Летчик ни на мгновение не потерял самообладание, хотя голубое небо то и дело меркло перед его глазами, становилось темно-серым: так сильна была перегрузка. У него хватило выдержки, и внимания, и находчивости, чтобы удерживать истребитель от диких прыжков, прибавлять обороты двигателям, когда падала скорость, убирать их при внезапных переходах в почти отвесное пики, чтобы не создать разрушающих перегрузок, выпускать в нужный момент тормозные щитки и следить во время этой невообразимой свистопляски за приборами. Подчинив наконец непослушный самолет своей воле, он определил причину, которая привела машину в такую судорожную агонию, и сообщил о ней на землю.

— Как сейчас с управлением? — запросили с аэродрома.

Рули крена работали нормально. Стабилизатор встал в положение «Малое плечо».

Доложив об этом, Битюцкий как можно бодрее добавил:

— Держусь!

Минуты две в связь с ним никто не вступал. Там, на стартовом командном пункте аэродрома, к которому он продолжал вести свой захандривший самолет, очевидно, совещались. Ведь при заходе на посадку стабилизатор должен находиться в положении «Большое плечо», а он недвижим на «малом». Какая же последует команда?

Вместо команды Битюцкий снова услышал тот же запрос:

— Как с управлением?

«Тянут время, — с досадой подумал летчик. — Эх, не свой все-таки аэродром, вот и колеблются больше, чем я здесь, в воздухе, на неисправной машине».

— Держусь, — подчеркнуто спокойно ответил он. Истребитель пожирал пространство. Облачность уже осталась позади, небо вокруг было таким чистым, что Битюцкий увидел с высоты аэродром, к которому шел, и опознал его. Но никаких указаний оттуда все еще не поступало. Тогда он опробовал, как машина слушается руля глубины, и перевел ее на снижение.

Планируя, он заколебался. В нем боролись противоречивые чувства. Поскольку вести скоростной истребитель на посадку с неисправным стабилизатором опасно, то ему, конечно же, можно катапультироваться. Так не сделать ли это, пока позволяет высота? Но, с другой стороны, было чертовски жаль замечательную машину. Какой же летчик, если он действительно летчик, а не паникер, оставит свой самолет, не исчерпав до предела всех возможностей спасти его. И еще очень хотелось Битюцкому привести самолет на аэродром для того, чтобы инженеры смогли определить, почему в полете на нем возникла неисправность в системе управления. А выбросишься с парашютом — истребитель от удара о землю взорвется. И тогда никто уже не узнает, что же стряслось со стабилизатором.

Никаких указаний Битюцкому так и не поступило. Это могло означать лишь одно: принимай решение на свой страх и риск. Хочешь — бросай, хочешь — сажай. Не отважился все-таки тот, незнакомый Битюцкому руководитель полетов, с которым он сейчас держал связь, взять на себя ответственность за «чужого» летчика. Или просто растерялся. А высота, нужная для катапультирования, была между тем потеряна. Тогда Битюцкий вдруг успокоился: прыгать поздно, значит...

— Обеспечьте посадку с ходу! — радировал он, и запрос его прозвучал как приказание.

С этого момента летчик пилотировал машину с особым хладнокровием и расчетливостью. Он знал, как будет вести себя истребитель с «забастовавшим» стабилизатором, когда начнет гаснуть скорость, знал, что при выпуске шасси самолет «потянет на нос», а это опасно на малой высоте: можно врезаться в землю. Поэтому он установил пологий угол планирования, а шасси и закрылки выпускал одновременно, чтобы не раскачать и без того неустойчивую в воздухе машину.

И все же в последние секунды чуть не случилось непоправимое. Истребитель опять перестал слушаться руля глубины.

— Сажай! — приказал руководитель полетов. Битюцкий и рад был бы создать самолету посадочное положение, но машина не повиновалась. Она ткнулась передним колесом в землю, не дотянув до бетонированной полосы несколько сот метров.

Такое приземление грозило аварией. Однако все обошлось благополучно. Случайно?

— Считай, повезло, — говорил впоследствии Битюцкому капитан Орел. — Крупно повезло. Не иначе, в рубашке родился.

Сам Иван думал по-иному. Во-первых, он повел машину к земле с небольшой скоростью и с пологим углом снижения. Во-вторых, сразу же после приземления начал тормозить, поэтому машина не отскочила от земли. Если бы взмыла — сваливание на крыло и...

К чему ведет падение, удар о землю, пояснять не надо. Битюцкий, избежав катастрофы, заставил себя не вспоминать о грозившей беде. Он спокойно отрулил самолет с посадочной полосы на стоянку, но вдруг стало трудно дышать, будто на плечи легла невероятная тяжесть.

Иван резким движением открыл кабину, жадно глотнул холодный, пахнувший землей воздух и обессиленно откинулся на спинку катапультного сиденья.

Когда инженеры и техники осмотрели самолет и выяснили причину неисправности стабилизатора, они наперебой стали благодарить Битюцкого. Еще бы! Он помог устранить подобный дефект и на других машинах. Инженер-полковник Борис Михайлович Яшин пообещал ходатайствовать о том, чтобы летчика поощрили.

Так закончился этот рискованный полет. Длился он одиннадцать минут. Немало пришлось пережить Битюцкому за эти минуты. Но, попав в аварийную ситуацию, он не побоялся риска, проявил мужество и вышел победителем.

Победителей, говорят, не судят. Однако совсем по-иному, чем инженеры и техники, отнеслись к случившемуся многие летчики, особенно командиры.

— Битюцкий неправ, — по обыкновению спокойно сказал подполковник Юрий Николаевич Косминков. — Надо было катапультироваться. А так — запишут грубейшую предпосылку к летному происшествию. Да и вообще ситуация была аховая.

Косминкова поддержал капитан Прилуков. Но за Битюцкого вступился подполковник Чуйков. «Человек неукротимого темперамента», как однажды сказал о нем Валентин Орел, Владимир Иванович заявил:

— А я считаю — Битюцкий прав.

Возник спор. «Что же, летчик не может рисковать?» — спрашивали одни. «Вопрос, нужен ли в авиации риск — не новый, — отвечали другие. — В бою, например, без него не обойтись, а вот в других случаях — тут еще надо посмотреть. Конечно, в воздухе не отъедешь на обочину дороги, не сядешь на облако, чтобы там исправить машину. Но всегда надо уметь провести грань между разумным, обоснованным решением и бессмысленным, опасным».

Ведя разговор о риске, о грани между возможным и невозможным, между разумным и бессмысленным, летчики во мнениях разошлись. Решили, что такая грань существует — это целесообразность риска, польза, которую он принесет. Но едва завели речь о конкретном случае с Битюцким, суждения разделились, и спорящие опять загорячились.

Вспомнили, как один из летчиков, находясь в воздухе, радировал, что в кабине, появился дым. Пожар — случай особый, и пилот хотел было катапультироваться. Руководитель полетов спокойно выяснил у летчика, в чем дело, и приказал выключить прицел. Он не ошибся: в электропроводке прицела произошло замыкание. Стоило выключить прицел, как дым исчез. Летчик благополучно завершил полет. Но после о нем говорили, что он спаниковал.

— Выходит, я испугался другого — катапультирования? — усмехнувшись, спросил Битюцкий.

На счету у него к этому времени было уже более ста пятидесяти прыжков. И поэтому предполагать, что он побоялся катапультироваться, по меньшей мере смешно. Сделать это ему было гораздо проще, чем садиться с забарахлившим стабилизатором. Но благоразумно ли он поступил, приняв в сложившейся обстановке решение производить посадку?

Свою машину, ее аэродинамические качества и особенности пилотирования при неисправном стабилизаторе Битюцкий знал хорошо. Ситуацию, в которой очутился, оценивал трезво, действовал грамотно. Все это помогло ему дотянуть до аэродрома и посадить самолет. Но когда спасенный им истребитель был осмотрен прибывшей из Москвы комиссией, стало ясно, что летчик подвергся большой опасности. И ему сказали:

— Вы не испытатель. Могли бы катапультироваться. То же сказал Битюцкому и командир, подчеркнув, что, согласно известным указаниям, летчик, в случае возникновения неисправности в управлении, обязан покинуть самолет. Мы же знаем, что в нашей стране жизнь человека дороже любой машины.

— Вот тебе, дедушка, и Юрьев день, — подошел к Битюцкому капитан Орел. — Ждал благодарности, а получишь выговор. Полагаю, уж теперь-то ты не будешь утверждать, что риск — фельдмаршал жизни.

— Ты прав, — невозмутимо отозвался Битюцкий. — Теперь я возведу риск в ранг

генералиссимуса.

— Это по меньшей мере превышение полномочий, и тебя взгреют как самозванца.

— В таком случае ты поделишь мою горькую участь. Или забыл, как сам недавно ночью зашел на посадку с невключенной фарой?

— Мой грех по сравнению с твоим — мальчишеская шалость. Впрочем, утешайся хотя бы тем, что накажут не одного тебя.

— Знаешь, что, Валентин, — нахмурясь, взглянул Битюцкий на Орла, — я скажу тебе проще: поди ты ко всем чертям. И без тебя несладко. Понял?

— Как не понять! — дружелюбно согласился Орел. — Я ведь тебе сочувствую, только ничем помочь не могу.

— Какое уж тут сочувствие — одни шпильки.

— А может, это прием из арсенала индивидуальной воспитательной работы, — засмеялся Орел. — Или лучше выговор, а?..

Никакого взыскания Битюцкий, конечно, не получил, но переживаний ему и без того хватило. Он много и долго размышлял над тем, как все странно обернулось. Не ждал, не гадал — и вдруг прослыл нарушителем летных правил.

Слов нет, наставления, инструкции для летчиков — святая святых. Каждый их пункт и параграф, как говорится, написан кровью. В большинстве случаев дают пилоту проверенный опытом готовый ответ на вопрос: что делать в тот или иной трудный момент? Допустим, отказал при отрыве самолета от земли двигатель. Может ли тут летчик задумываться над тем, как ему поступить? Нет, размышлять здесь некогда: машина, теряя скорость, мгновенно начинает падать. А наставление заранее предписало единственное в таком положении решение: посадка прямо перед собой, избегая лобового удара о препятствия.

Вот так по различным вариантам «особых» случаев правила, изложенные в инструкции, указывают верный образ действий, помогают избежать беды. Это Битюцкому было хорошо известно. Но, летая уже более пятнадцати лет, он знал и то, что самое добросовестное наставление не может до малейших деталей предусмотреть все перипетии полета, а стало быть, и предполагает инициативу летчика, его готовность идти на риск как в военное время, так и в дни учебных будней. Тогда за что же его укоряют?

Жизнь не давала времени для долгих переживаний. Приходилось летать, готовиться к полетам, нести боевое дежурство, по нескольку дней задерживаться на незнакомых аэродромах. Весной начались летно-тактические учения, летом Битюцкий вообще целый месяц не заглядывал домой: «сидели» на полевой грунтовой площадке, отрабатывая задачу по перехвату целей на удаленных рубежах. В напряженном ритме учебы забывалось то, что недавно бередило душу и казалось обидным, приходили новые заботы, отодвигая все личное на задний план. Но порой очень тесно переплетается в летной работе твой личный опыт с опытом товарищей, прошлое — с настоящим.

Оттуда, с грунтовой площадки, летали однажды и на полигон. Задание было интересным: штурмовка точечных наземных целей. Били по макетам автомашин, танков, самолетов и ракетных установок. Здорово получалось — от макетов, что называется, только щепки летели. Ну, тут, конечно, как никогда в азарт вошли. Майор Валентин Панасенко, пикируя, почувствовал: двигатель затрясло, — но из атаки не вышел, пока пушечной очередью не разнес мишень в клочья.

Битюцкому понравилась напористость Панасенко. Он одобрил его решение довести атаку до победы:

— Я бы тоже...

Командир, однако, рассудил иначе: лихачество! И сделал лихачу строгое внушение.

— А если бы такое в бою стряслось? — запальчиво спросил Битюцкий. — Тогда, значит, торопись назад драпать? А цель пусть живой-здоровой остается?

— То в бою, — поучительным тоном заговорил Орел. — Бой — другое дело, тут одно с другим сопоставлять не к чему. В учебе поосторожнее надо.

— Ага, потихонечку-полегонечку, тише едешь — дальше будешь, — сыронизировал Иван. — А смелость — она сама по себе придет.

— Эк тебя заносит! — невозмутимо отозвался Орел. — Совсем наивным младенцем прикинулся. А ведь все понимаешь не хуже меня. Сам небось не станешь теперь тянуть к аэродрому, если что...

«Шут его знает, — злился Битюцкий, живо вспомнив свой недавний случай. — Может, и не буду. Припрет — легче катапультироваться, чем потом нотации выслушивать». Но, размышляя так, Иван тут же подумал о другом. Он не просто специалист, не просто летчик, которому важны лишь собственное спокойствие и благополучие. Он — коммунист, военный летчик, воздушный боец. Значит, если сражаться с врагом, то до победы над ним, а если завтра-послезавтра аварийная обстановка в воздухе сложится, опять сделает все возможное и невозможное, чтобы спасти машину. Современный истребитель не велосипед, на него немалые средства потрачены.

Вместе с тем Битюцкий, как всякий человек, в глубине души надеялся на лучшее. Авось ничего страшного больше и не случится. Никто, конечно, от неприятных случаев не гарантирован, они в авиации бывают, но не столь и часто. Техника нынче надежная, ну а поскольку он уже однажды побывал в переплете, то не должно же такое повториться с ним, именно с ним. Это, в конце концов, было бы несправедливостью. Почему у того же Орла, хотя летает он не меньше, никогда ничего? Да и у многих других...

Так, успокаивая себя, прикидывал Битюцкий. Но, как говорится, человек предполагает, а жизнь располагает. И в одну из ненастных ночей, когда на небе, затянутом тучами, не видно было ни звездочки, на стартовый командный пункт поступило тревожное сообщение. Оператор, дежуривший у экрана кругового обзора, взволнованно доложил:

— С Битюцким оборвалась связь...

— Видите его? — спросил руководитель полетов.

— Вижу. Снижается, — торопливо ответил оператор, а минуты через две глухо, с отчаянием в голосе добавил: — Все... Не вижу...

Снижался Битюцкий или падал? Хотелось надеяться, что снижался. Но куда? Почему ничего не передал? Обязан был доложить, а пошел куда-то молча. Видимо, трудно, невозможно было даже сказать что-нибудь. Какое же еще испытание приготовило ненастное небо? Один за другим летели в эфир запросы, но ответа не поступало. Не слышал он, что ли?

Да, Иван ничего не слышал. Выполнив задание по перехвату скоростной высотной цели, он, довольный успехом, выходил из атаки. Неожиданно в кабине разом погасли все сигнальные лампочки, померкло ультрафиолетовое облучение приборов, упали на шкалах стрелки, замолчала рация. Бездействовал и радиокompас.

Летчик оторопел: что за наваждение? Внезапная, зловещая тишина и чернильная тьма застигли его врасплох. В наушниках — ни шороха. Только свистит рассекаемый плоскостями воздух да глухо проникает в герметическую кабину гул двигателей. Он оказался не только «слепым», но и «глухонемым». Худшего и не придумаешь.

«Питание, — мелькнуло в мозгу. — Что же теперь? Куда лететь в кромешном мраке? Внизу облака, их нижняя кромка местами достигает земли, и пробивать их вниз, пилотируя машину с отказавшими приборами, равносильно самоубийству».

Не веря себе, Битюцкий пощелкал кнопкой передатчика, пошарил рукой по панели, проверяя положение тумблеров электроцепи. Все — на месте, а толку — ничуть, Что же предпринять? Прыгать?

— Спокойно, спокойно, — громко сказал Иван сам себе. — Нельзя идти вниз — можно пока лететь вперед...

Взяв наугад примерный курс к своему аэродрому, он летел, лихорадочно обдумывая создавшееся положение, и не находил выхода. Мысли возвращались к одному: вернее всего — прыгать. Но и спешить не хотелось. Пока есть горючее, есть надежда найти какой-нибудь другой выход. Или хотя бы уйти отсюда: под ним — густонаселенная местность.

Глаза постепенно привыкли к темноте, и вдруг... Кто сказал, что все потеряно? Не надо только теряться самому. Внизу сквозь разрыв в пелене туч сверкнула цепочка огней. Сверкнула и тут же исчезла, словно погасшие на ветру искры. Но этого было достаточно, чтобы летчик понял: там — аэродром. Какой? Неважно. Битюцкий, не раздумывая, перевел самолет в режим крутого снижения. Он еле сдерживал себя, чтобы не пикировать. Понимал: это было бы излишним риском.

Стрелка высотомера торопливо бежала влево. 1000... 500... Какие низкие облака! Так прямо из них в земной шар воткнешься. Битюцкий уменьшил угол планирования. Тучи наконец оборвались, и он увидел впереди окаймленную двумя пунктирами огней ночного старта посадочную полосу. Догадался: аэродром истребителей-бомбардировщиков. Снижаясь, Иван дал ракету, чтобы его заметили, потом еще две и включил посадочную фару.

Когда летчик выравнивал истребитель перед приземлением, зажегся прожектор. Всего один. Другие не успели дать луч: слишком неожиданно появился незнакомый самолет. Но Битюцкому было достаточно и одного. Тем более что он шел со светом фары. Еще мгновение — и машина мягко коснулась колесами шасси бетонированной полосы аэродрома.

После посадки Битюцкий представился командиру полка истребителей-бомбардировщиков, доложил, в чем дело.

— Главное, успел к нам сесть, — радуясь, как за самого себя, сказал подполковник. — Ведь мы уже закончили полеты и собирались гасить ночной старт. А что же с машиной?

— Обиднее всего то, что суший пустяк, — нахмурился Битюцкий. — Перед вылетом второпях техник не законтрил контактный разъем, а он в полете от вибрации открылся. Вот приборы и остались без питания...

Утром Битюцкого вызвал для объяснения Герой Советского Союза генерал-майор Иван Васильевич Федоров. Выслушав капитана, он пожал ему руку:

— Хвалю за расторопность. Московская комиссия ходатайствует о том, чтобы вас поощрить. Мы досрочно представляем вас к присвоению очередного звания...

Вскоре Иван Александрович Битюцкий был опять среди товарищей, собравшихся для предварительной подготовки к полетам. На второй этаж штаба, где находится методический класс, он не вошел, а почти взбежал, быстро шагая через две ступеньки. Минувшую ночь он провел дома, хорошо отдохнул и теперь выглядел свежо, будто и не было позади никаких тревог. От его подтянутой, по-юношески стройной фигуры, сразу выдающей спортсмена, веяло силой и здоровьем, на лице играл румянец, и только возле губ не разгладились две упрямые морщинки.

— Иван Александрович! — шумно приветствовали его летчики. — Рассказывай, что у тебя с машиной стряслось?

— Очередная сенсация, — выступил вперед Орел. — Улетел капитаном, прилетел майором. Поздравляю!.. А в общем, я же говорил, что ты аки птица — в небе чувствуешь себя свободнее, чем на многогрешной земле.

— Пиши оду! — улыбнулся Битюцкий.

— Всех прошу в класс, — подошел к летчикам начальник штаба. — Командир будет ставить задачу на завтрашние полеты...

«Свой?» — «чужой?»

Внешне Василий Смоляков, летчик сверхзвукового истребителя, ничуть не изменился. Был он все тем лее приветливым и улыбочивым парнем, нежным в дружбе и задиристым, порывистым в спорах. Разве что похудел, осунулся немного, да порой более колючим становился взгляд его темных глаз, искрящихся юмором и одновременно той бесшабашной удалью, которая сразу отличает отчаянно смелого, уверенного в себе человека.

И с чего только все началось? Пожалуй, с перелета на этот незнакомый аэродром. Просторный, хорошо оборудованный, с двумя широкими — бетонированной и грунтовой —

взлетно-посадочными полосами, он был не хуже того, на котором постоянно базировалась их эскадрилья. Но прежний аэродром был привычнее. К тому же никто из летчиков, даже командир полка, не знал еще, сколько им придется на этот раз «сидеть» здесь. Спросили у генерала, но тот заглянул на аэродром пролетом и на такой наивный вопрос лишь усмехнулся:

— Там видно будет.

А Василия тяготила долгая разлука с женой, которую он, сам немного стыдясь того, любил так же пылко, как и в годы юности, хотя прожил с ней целых десять лет. И по Светке, своей дочери-первоклашке, скучал капитан, как никогда.

А потом эта встреча в воздухе! Барражируя однажды над позицией зенитных ракет, Смоляков совсем случайно увидел скользнувший в облака самолет. Это, вероятнее всего, был наш новый сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, но капитан, сам не зная почему, заподозрил в нем чужака. Он было даже погнался за ним, о чем и доложил, как следовало, на командный пункт. Однако в эфире тотчас послышался иронически-властный голос командира:

— Отставить! Ты что, ноль тридцать седьмой, бредишь? Выполняй свое задание.

«Задание! — сердито подумал Смоляков. — Кружи над позициями ракетчиков. А они еще, чего доброго, нажмут не на ту кнопку и пульнут в тебя по ошибке...»

После полета капитан кинулся на командный пункт.

— У вас тут, наверно, все локаторы ослепли! — загремел он с порога. — Я видел, понимаете, сам видел, а вы...

— Убери громкость, Василий Алексеевич, — прервал Смолякова командир эскадрильи майор Шмелев. — Нам сейчас и без твоих эмоций жарко. Смотри...

Смоляков хорошо знал манеру Шмелева разговаривать вот так, авиационными терминами. Забудешься, повысишь голос — «убери громкость», не убедишь в споре — «закрой сегменты», проявишь горячность-«сбавь обороты». И если уж он произнес нечто в этом роде, то лучше повременить с полемикой.

— Чего смотреть? — все еще недовольным тоном, но уже не так громко спросил Смоляков, подходя к пульта управления, и тут же умолк. Локаторы в самом деле если и не «ослепли», то и «видели» немного: тускло-матовая поверхность экрана кругового обзора была сплошь подернута бело-зеленой рябью. Штурман наведения капитан Чумак и два солдата — операторы — усердно пытались уйти от помех. У них пока что ничего не получалось.

Василий был заядлым радиолобителем и хорошо знал аппаратуру радиолокационной станции. Он немедленно включился в работу. Затем подошел вызванный командиром инженер.

— Ничего не понимаю...

— А я все-таки докопаюсь до сути, — не сдавался Смоляков.

— Вряд ли, Василий Алексеевич, — возразил капитан Чумак. — По-моему, засветка экрана возникает от сильной облачности. Я здесь не первый год служу, часто такое наблюдал.

— Это еще надо уточнить, — сказал Смоляков задумчиво. — Облачность сегодня не такая уж сильная.

— Как бы там ни было, — вступил в разговор майор Шмелев, — а нашим летчикам такое явление надо учесть. Особенно тебе, Василий Алексеевич. А то ты в полетах очень уж самонадеян.

— А ты, Андрей Иванович, готов каждый самолет на привязи держать, — парировал Смоляков, намекая на то, что командир строжайше запрещал истребителям выходить из зоны радиолокационного контроля. Затем, видя, что его реплика задела Шмелева, запальчиво добавил: — Говори после этого о самостоятельности перехватчика.

— Не ожидал я таких слов от своего заместителя, — недовольно нахмурился, проворчал майор и тут же отплатил Смолякову за его колкость: — Ну, а если на то пошло, то я не забыл, как ты однажды с привязи сорвался.

При всей своей находчивости Смоляков растерялся. Комэск напомнил ему случай почти десятилетней давности, и Василий не знал, как на это реагировать.

Капитан замолчал. Он вспомнил один неприятный эпизод из своей летной жизни.

Был тогда Василий совсем молодым пилотом. Как-то в тихий солнечный день он вылетел на перехват воздушной цели, чтобы отработать типовые атаки. Целью оказался бомбардировщик Ил-28. Этот внушительных размеров двухтурбинный корабль, проходя по маршруту мимо их аэродрома, казалось, всем своим видом выражал полнейшее равнодушие к неловким наскокам хлипкого в сравнении с ним истребителя МиГ-15, на котором летал Смоляков. Возможно, пилот бомбардировщика в тот момент был занят другой, более важной для него работой, или, может, он догадывался, что имеет дело с зеленым новичком, и не маневрировал, чтобы не мешать ему тренироваться, но Василия такая невнимательность только раздражала.

Ему живо представилась вся картина со стороны: вьется, мечется возле большой, снисходительно-невозмутимой птицы назойливый воробушек. И тогда в отчаянной душе Василия вспыхнула веселая злость. «Ну, я тебе сейчас покажу, бомбер, на что мой воробушек способен!»

Легко обогнав Ил-28, Смоляков почти перед самым его носом крутнул одну за другой две двойные бочки. Смотри, дескать, завидуй!

— Куда лезешь! — тут же громыхнул в наушниках шлемофона сердитый бас. — Собью!

«Ага, заело!» — усмехнулся Василий и задиристо бросил в эфир:

— Попробуй!

А в следующую секунду он ошеломленно шарахнулся вниз. Казавшийся флегматично-неповоротливым, бомбардировщик так дерзко рванул в его сторону боевой разворот, что Смоляков, как ему представилось, еле избежал самого настоящего тарана.

— Вот шальной! — оторопело промолвил он, дивясь неслыханной бесшабашности и мастерству незнакомого ему летчика, который с таким блеском провел атаку. Потом, почуяв в нем азартного бойца, предложил: — Потягаемся, что ли?

— Куда тебе, малыш! — насмешливо прозвучало в эфире.

Эти слова еще больше раззадорили Смолякова. Словно подстегнутый, рванулся он в атаку. К его удивлению, бомбардировщик, развив, очевидно, максимальную скорость, начал уходить. Насмешка, да и только: истребитель, предназначенный для стремительного поиска и скоротечного маневренного боя, того и гляди, останется с носом. Стерпеть такое? Ну нет!

Василий выжал из машины все, что мог, и настиг Ил-28, срезав круг, когда тот выполнял разворот на новый курс. Однако удовлетворение молодого летчика быстро сменилось досадой: в горячке преследования он совсем забыл об ориентировке.

Спохватясь, Смоляков торопливо осмотрелся и ничего не понял. Он растерянно сник: местность по всей округе была незнакомой и пустынной. Правда, виднелось внизу одно небольшое село, но какое — определить Василий не смог.

— Бомбер, — вырвалось у него, — какой под нами пункт?

— Населенный, — с язвительным предостережением пророкотал уже знакомый бас, давая понять, что о маршруте полета открытым текстом не говорят. Потом, словно снизойдя, пилот бомбардировщика более миролюбиво, но все тем же иронически-снисходительным тоном посоветовал: — Не знаешь — топай за мной.

Смоляков мысленно послал его ко всем чертям. Он еще надеялся, что восстановить ориентировку ему поможет командный пункт. Увы, никто так и не отозвался на его запросы. «Далеко же я махнул за этим ехидным бомбером!» — зло подумал Василий и, как бы признавая себя побежденным, пристроился почти вплотную к крылу Ил-28. Ладно, дескать, веди...

А что ему оставалось делать? Баки пустели с каждой минутой, и рано или поздно пришлось бы либо катапультироваться, либо приземляться в чистом поле, рискуя разбить самолет.

Вообще-то покорно плестись за надменным бомбером было неприятно. Если судить учебный вылет по законам боевой обстановки, то получилось, что летчик Смоляков никудышный. Поднялся в небо, чтобы сразить воздушного «противника», а сам заблудился среди бела дня.

Скрепя сердце Василий смирился: не гробить же машину из-за собственной глупости. Но, очутившись на аэродроме бомбардировщиков, он почувствовал себя таким жалким, что готов был провалиться в тартарары.

Нет, никто ничего обидного ему не сказал. Совсем наоборот. Летчик, который был таким язвительным в роли противника, показал себя подчеркнуто тактичным в роли пришедшего на выручку товарища по оружию. И в то же время он без единого слова весьма умело выставил своего нечаянного пленника в самом комическом виде. Вначале этот хитрый бомбер с чисто авиационной галантностью провел Василия по традиционному кругу над стартом, потом, согласно воздушному этикету, пропустил его на посадку впереди себя, а после приземления догнал и, пристроясь в хвост, подсказывал, куда рулить.

Словом, все выглядело как бы самым невинным образом. Одного только не понимал Смоляков: хозяева аэродрома — летчики, техники и даже механики, которые не без любопытства обращали взгляды навстречу его самолету, почему-то все, как один, улыбались.

Дошло до него, что к чему, лишь на изгибе рулежной дорожки. Оглянувшись, он увидел, что рулящий вослед Ил-28 почти наезжает на маленький, невзрачный в сравнении с бомбардировщиком МиГ-15, словно грозя раздавить его своей крутобокой тушей. И тут все предстало перед Василием совершенно в ином свете. Выходило, что истребитель, этот властелин неба, и там, в воздухе, безропотно подчинялся самодовольно-высокомерному «мастодонту», и здесь, на аэродроме, как жалкий воробушек, бежал и не мог убежать, припадая от страха к земле.

И уже совсем обескуражен был Василий, когда лицом к лицу встретился с хозяином крылатого «мастодонта». Судя по раскатисто-ироническому басу, он ожидал увидеть такого мужественного, богатырской внешности пилота, а тот оказался невысоким, щупленьким румянощеким пареньком. И фамилия у него была, словно он ее тут же, на ходу, придумал.

— Хитров, — с самой невинной улыбкой протянул он Василию руку, — Виктор Хитров...

Много времени прошло после их мимолетной встречи, а Смоляков до сих пор отчетливо видел перед собой лицо Хитрова, его притворно-простодушную улыбку. Летчик испытывал жгучее чувство стыда оттого, что так бездарно потерял тогда ориентировку. Потому он и молчал, когда командир эскадрильи напомнил ему о давнишней ошибке. Намек был понятен: местность — район полетов вокруг этого незнакомого аэродрома — еще не изучена, значит, смотри в оба, не забывай прошлый грех.

Василий не рассердился на майора Шмелева. На ошибках учатся, и теперь он не допустит повторения старой оплошности. И все-таки разговор был ему неприятен. Не хотелось, чтобы подробности того досадного эпизода стали известны штурману — капитану Чумаку.

— Скажите, Станислав Александрович, — обратился Смоляков к Чумаку, чтобы прервать затянувшуюся паузу, которая возникла во время их разговора на командном пункте, — а вы, вы-то видели, что в воздухе появился незнакомый самолет?

— При таких-то помехах? — штурман кивнул головой в сторону экрана. — Нет, не видел.

— Странно, — задумчиво произнес Василий. — Странно. Ведь заявки на перелет мы ни от кого не получали. И сигнал... Был сигнал «Свой» — «Чужой»?

Ничего не сказав, Чумак лишь пожал плечами, но во взгляде его, как подводное течение, прошла еле уловимая усмешка, и Смоляков, настороженно наблюдавший за ним, вспыхнул:

— Не хотите ли вы сказать, что самолет мне померещился?

— Сбавь обороты, Василий Алексеевич! — вмешался майор Шмелев. — Хватит

спорить. Тебе на дежурство в ночь заступать. Так что шагай-ка лучше на боковую...

В семнадцать ноль-ноль Василий стоял по команде «Смирно» в строю, слушая привычные для него и все-таки волнующие слова:

— Для выполнения боевой задачи по охране и обороне Государственной воздушной границы Союза Советских Социалистических Республик приказываю назначить на боевое дежурство капитана Смолякова...

Зачитывая приказ, командир одну за другой называл фамилии летчиков, техников, механиков. Все не в первый раз заступали на дежурство, но каждый невольно подтягивался: с этой торжественно-строгой минуты все личное отодвигалось на второй план. На какое-то время забыл о своих заботах и Смоляков. Однако человек есть человек, и спустя час-другой мысли Василия вновь обратились к тем событиям, которые так растревожили его душу в последние дни.

Скучая по дому и стараясь успокоить себя («Четвертый десяток разменял, а все мечусь, как мальчишка»), он долго думал о жене. Расставаясь с ним перед его отлетом, она сказала, что поедет с дочкой на юг. Наверно, уехала, если до сих пор нет от нее писем.

«Дался ей этот юг! — злился Василий. — Могла бы к матери моей поехать, так нет, ей там, в небольшом рабочем поселке, видишь ли, скучно...»

А тут еще этот Чумак. Экран кругового обзора, как хлопья снега, забит помехами, а он, штурман наведения, и пальцем не пошевелит. А вдруг помехи в радиолокационной системе обнаружения не случайность? Вдруг их вводит чужой самолет!

Внезапно перед глазами Смолякова вспыхнуло сигнальное табло. На его матовом фоне отчетливо вырисовывались красные буквы: «Тревога! В воздухе — нарушитель!» А из динамика селекторной связи уже гремел неприятно-жесткий голос капитана Чумака:

— Ноль тридцать седьмой, готовность! Привычным движением водрузив на голову гермошлем и проверив шнуровку высотного костюма, Смоляков шагнул за дверь, направляясь к стоянке, где техник уже снимал с полированной спины перехватчика легкий байковый чехол. Василий выслушал рапорт о готовности машины к полету, поднялся по прислоненной к борту лесенке в кабину, накинул на плечи лямки парашюта, застегнул привязные ремни. Затем, включив рацию, нажал кнопку передатчика:

— «Тура-два», я ноль тридцать седьмой, на связь!

— Понял вас, ноль тридцать семь, — отозвалась «Тура». — Ждите!

— Есть ждать! — четко, даже с излишним напряжением, ответил летчик.

Пылкий, склонный к мечтаниям, Смоляков, находясь на дежурстве, всякий раз принимал сигнал учебной тревоги как приказ на перехват реального, вроде Пауэрса, нарушителя наших воздушных рубежей. Но в небе, залитом холодным лунным светом, все было спокойно, и «Тура», проведя обычную тренировку, бесстрастно заключила обычными словами:

— Связи конец. Отбой.

Василий нехотя покинул кабину ракетноносца, вернулся в дежурный домик и, уступив место возле сигнального табло своему напарнику, прилег в соседней комнате на диван. Странное он испытывал состояние. Мышцы ног и рук, все тело, готовое к стремительному рывку за звуковой барьер, к возможной схватке в ночном небе, не хотело расслабляться, долго оставалось собранным в тугий комок, и в возбужденном мозгу роились мысли.

«Мало ли что!.. И вчера, и сегодня, и завтра — одни тренировки. Надоедает. Но для того и тренировки, чтобы в любой момент... А если всерьез? Враг тоже не дурак! Вдруг не помогут ракеты? Тогда что? Таран? — Летчик так резко повернулся с боку на бок, что в диване сердито заскрежетали пружины. — Да! Надо будет — и на таран пойду!»

Летчикам дежурного звена разрешается попеременно спать, но Василий так и не уснул в ту лунную ночь, словно боясь, что произойдет что-то неприятное. Но ничего не случилось, дежурство прошло так же мирно и обыденно, как всегда.

Последующие дни принесли еще большее успокоение. Смоляков наконец получил письмо от жены. Она сообщала, что отдыхает с дочерью у бабушки. В конце письма была приписка, сделанная рукой дочери: «Дорогой папочка! Мне здесь хорошо, только немножко скучно без тебя. Твой Светлячок».

Наладились дела и на командном пункте, где специалисты во главе с инженером привели все в порядок.

— Что дают синоптики? Летать сегодня будем? — спросил Смоляков командира.

— Обязательно! — кивнул Шмелев. — Только смотри — без выкрутас там. Сорвешься с привязи — спрошу по всей строгости!

— Да уж я знаю! — улыбнулся Смоляков и зашагал к домику, где летчики уже проходили медицинский осмотр и облачались в высотные костюмы, готовясь к предстоящим полетам.

День над аэродромом стоял безветренный, не по-осеннему солнечный. В вышине медленно, словно айсберги, плыли белые кучевые облака, но были редкими и ничуть не омрачали яркой голубизны небосвода. Словом, сама погода настраивала на полеты, и Смоляков, войдя в кабинет врача, бодро сказал:

— Подлетнем, доктор?

— Судя по внешнему виду, настроение у вас летное, — доброжелательно отозвался врач и, проверив у Смолякова пульс, давление крови и температуру, весело заключил: — Претензий не имею. Летайте на здоровье!

Василий немедля начал снаряжаться к полету. Для этого ему предстояло пройти настоящий обряд одевания, как королю перед выходом на прием заморских послов, но приступил к нему летчик с удовольствием. Видно было, что этот ритуал ему по душе.

Сняв китель, Смоляков натянул зеленый, весь испещренный застежками «молниями» и продольными шнуровками высотно-компенсирующий костюм. По внешнему контуру фигуры и на месте брюшного пресса в ткань были вшиты гофрированные шланги, с пояса свисали отростки воздушной и кислородной трубок. На ноги — ботинки с высокими голенищами и тоже с двусторонней шнуровкой.

Затем — целый комплект весьма оригинальных «головных уборов».

Тут на помощь летчику пришел врач. Он помог надеть поверх легкого, мягкого шлемофона тугую резиновую маску. На эту маску легла еще одна — матерчатая, пелерина которой подтыкается под воротник костюма. Наконец, гермошлем со щитком-забралом из органического стекла.

— Товарищ капитан! — донеслось из коридора. — Автобус ждет. Едем!

— Я готов, — отозвался Василий. — Иду!

А через несколько минут он сидел уже в кабине ракетноносца, и бетонные шестиугольники взлетной полосы, похожие на ячейки пчелиных сот, мчались под колеса шасси, на глазах сливаясь в сплошную серую ленту. Лента эта как-то разом оборвалась и провалилась вниз, летчик тут же затормозил колеса, сделал несколько привычных движений, убрал шасси... Мельком бросил взгляд на приборы и осмотрелся. Широко разметнулась под ним земля, лениво расстилая от горизонта до горизонта нити дорог и рек, желтые квадраты осенних полей, бледно-зеленые размывы лесов, — и все это, теряя яркие краски и четкие очертания, становилось каким-то нереальным.

Еще секунду назад такая далекая, на кабину самолета стремглав упала гряда кучевых облаков, но только на один миг облегла она фонарь своей темной массой. Перехватчик прошил ее звенящей стрелой, не успев даже вздрогнуть от турбулентных струй, а в следующее мгновение белые глыбы «кучевки» плыли уже так далеко внизу, что напоминали крошево льда на большой весенней реке.

Задание в сегодняшнем вылете было у Смолякова простое: шлифовка фигур пилотажа. Правда, оно несколько усложнялось тем, что к самолету были подвешены баки и ракеты. С такой загрузкой и без того тяжелая машина даже при элементарном перевороте должна терять

несколько тысяч метров высоты. Однако это не смущало опытного первоклассного летчика, каким был Василий. «Поднимусь выше, только и всего», — решил он и, откинувшись к бронеспинке, продолжал вести перехватчик в режиме максимальной скороподъемности. А вокруг него, открываясь все шире, всеми красками переливалось в солнечном свете необъятное небо.

Небо выглядело на редкость красивым. Оно состояло в тот час из трех цветов. Внизу, от земли и до нижней кромки облаков, где висела густая приподнятая дымка, довольно широкая полоса казалась затушеванной темно-сиреневой краской, над необычно ровной поверхностью дымки простирался широкий бледно-зеленый, почти салатный, но более нежный прозрачный слой, а выше, без конца и без края, слепя глаза, ярко сияла голубизна.

Там, где начиналась эта бездонная голубизна, Василий перевел машину в горизонтальный полет, проверил показания приборов, удобно уселся в кресло катапульты и потуже затянул привязные ремни. Затем, готовясь бросить самолет в каскад головокружительных фигур, он осмотрелся — и гордое удовлетворение овладело всем его существом. Теперь он принадлежал только небу, как небо принадлежало ему, а все земные заботы и тревоги остались далеко внизу, под слоем сиреневой дымки, будто их никогда и не существовало. И вдруг...

— Ноль тридцать семь, я — «Тура». Прекратить задание. Курс двести тринадцать!

— Как? — вырвалось у Смолякова. — Почему?

— Слушать мою команду! Курс — двести тринадцать, — настойчиво повторила «Тура», и Василий ввел перехватчик в крутой разворот, хотя не понимал, из-за чего ему изменили задание.

Ответ на его вопрос ждать себя не заставил. Кодированным текстом «Тура» сообщила:

— Впереди — неизвестная цель. На запрос «Свой?» — «Чужой?» не отвечает.

Увеличивая скорость, Василий немедленно послал от себя рычаг управления двигателем, а сам уже шарил глазами по указанному ему сектору неба.

Глухо, еле слышная в загерметизированной кабине, рокотала реактивная турбина, и в ее гуле обостренный слух летчика улавливал чистую отзванивающую ноту. Так отзванивают, если приложиться к ним ухом, хорошие часы. Значит, на приборы можно не смотреть: двигатель и, соответственно, аппаратура работают нормально. Теперь все внимание — поиску!

— Тридцать седьмой, снижение! — распорядился кто-то негромким и очень знакомым голосом. Но не успел Василий выполнить эту команду, как мембраны в наушниках шлемофона снова задрезжали — там, на земле, кто-то не говорил, а кричал в микрофон: — Цель не вижу! Не вижу цель! Смотри сам!

«Чумак!» — догадался Смоляков, и ему все стало ясно: у штурмана на экране кругового обзора — помехи! И вновь, как тогда, на дежурстве, мозг обожгло подозрение: а не связаны ли помехи с появлением этой неопознанной цели? Ведь она идет оттуда, со стороны границы. Или — к границе?

— Куда шла цель? — обеспокоенно запросил Смоляков. — Сообщите курс цели!

— Ноль тридцать семь, я — «Тура-один». Смотри впереди и ниже. Понял?

Это был голос майора Шмелева, который руководил сегодня полетами. Ободренный его поддержкой, летчик сразу почувствовал себя увереннее. Выполняя пологое снижение, он начал делать змейки, что позволяло ему обозревать пространство в более широком секторе. И все же рассмотреть, увидеть что-либо в бескрайней глубине неба было трудно. Яркая вблизи, синева сгущалась в отдалении до того, что глаз принимал ее за грозовую тучу.

Невольно вспомнились слова Чумака: «Успех современного воздушного боя делят по крайней мере два человека — летчик и штурман наведения». «Ах, Чумак! Все-то ты боишься, что кто-то уменьшит твои заслуги, да норовишь пооригинальнее высказать самую очевидную истину. Но разве в таком важном деле, как поиск неизвестной цели, можно что-то делить? Ну что ж ты молчишь, Чумак?»

— «Тура!» — почти закричал, не утерпев, Василий. — Дайте цель!

И «Тура» отозвалась. Чумак, хотя Смоляков и не ожидал от него такой прыти, сумел все-таки устранить помехи. В эфире опять зазвучал его голос:

— Тридцать седьмой, доворот влево пятнадцать!

Как кстати оказалась его поддержка! Довернув перехватчик на указанный штурманом угол, Смоляков едва не вскрикнул: впереди, срезая ему курс, почти отвесно пикировал точно такой же самолет, который уже встречался однажды в облачном небе. Еще минута-другая — он скрылся бы из виду и сейчас. Глубокой спиралью Василий устремился за ним, разгоняя скорость.

«А Чумак-то, Чумак! — с восхищением подумал летчик о штурмане наведения. — Он дело свое знает. Только вот немножко ершист, задирист. Так ведь и у меня характер не золото...»

Преисполненный чувством благодарности за своевременную помощь, Смоляков радостно радировал Чумаку:

— Цель вижу!

В другой обстановке Василий сказал бы: «Спасибо. Станислав Александрович!» Сейчас, однако, речь его была строго регламентирована правилами радиообмена, и он лишь отрывисто бросил в эфир:

— Атакую!

— Атаку запрещаю! — стеганул по ушным перепонкам резкий возглас майора Шмелева. — Посмотри, кого там носит, и пригласи в гости.

— Понял, — сухо буркнул Смоляков и, словно речь шла о самом обычном деле, спокойно согласился: — Сейчас.

До тех пор пока любой замеченный в небе самолет не опознан, он — противник. Следуя этому авиационному правилу, Смоляков шел на сближение чуть выше и правее, чтобы рассмотреть опознавательные знаки на борту подозрительного незнакомца и не дать ему возможности ускользнуть. Наконец он увидел на высоком киле красную звезду и успокоился: наш! Только заблудился, наверно, да к тому же забыл включить сигнал «Свой» — «Чужой».

Василию даже жалко стало неизвестного летчика. Нагорит теперь парню. Молод, поди, несобран, а все равно стружку снимут. Ведь одно дело — с курса сбиться, и совсем другое — не включить столь необходимую для полета аппаратуру.

Судя по типу машины, Смоляков предположил, что перед ним истребитель-бомбардировщик. Тогда, переключив радиостанцию на канал частоты, с которой держат обычно связь проходящие самолеты, он вполне дружелюбно сказал:

— Слушай, бомбер! Видишь слева аэродром? Заворачивай на посадку.

Слова его, однако, остались без ответа. Бомбер либо не слышал Василия, ведя радиосвязь на другой волне, либо притворился, что не слышит, надеясь уйти. Да, так и есть: вот он еще круче взял вниз и скорость увеличил, чтобы оторваться.

Смоляков не дремал. Он тоже прибавил обороты двигателя и быстро догнал нахального незнакомца.

Теперь, когда машины шли рядом, Василий видел одетую в гермошлем, чуть повернутую к нему голову летчика и качнул плоскостью: «Следуй за мной!» Тот не реагировал. Тогда Смоляков подошел еще ближе и махнул рукой, указывая направление к аэродрому.

— Куда лезешь! — громыхнул вдруг в наушниках шлемофона раскатистый бас. — Я — «Дракон»!

Чем-то сказочно-жутким повеяло от этого слова. В то же время Василия почему-то особенно насторожил сердитый бас, и память услужливо подсказала: Хитров!

Сложное чувство овладело Смоляковым. Тут была и радость от встречи со старым знакомым, и удивление перед тем, что он летает теперь на истребителе-бомбардировщике, и полузабытое ощущение неловкости перед ним, и веселое уважение за то, что Хитров, спустя

столько лет, остался все тем же задиристым остряком. Вишь — разыгрывает: «Дракон»! «Дракон» — это марка одного из типов зарубежных истребителей. Так ведь аэродинамические формы у той машины другие.

Был в этом сложном чувстве Василия еще один оттенок. Ему не хотелось признаваться в том даже себе, и все же он испытывал удовлетворение: в сегодняшней встрече, по сравнению с первой, они с Хитровым поменялись ролями. Теперь они квиты! И Смоляков, невольно поддаваясь такой мысли, иронически улыбнулся:

— Узнаю по басу. А все равно топай-ка, «Дракон», на посадку, пока я тебя не раздраконил.

Реакция на каламбур была самой неожиданной. «Дракон» так круто упал на правое крыло, что Смоляков едва не потерял его. А в следующее мгновение оба самолета резко взмыли вверх. Все увеличивая угол набора, их сигарообразные фюзеляжи встали вертикально и опрокинулись на спину.

— Ах ты!.. — выдохнул Смоляков, злясь и дивясь тому, что бомбер решился на столь отчаянный трюк. И уступить ему он не хотел: его подстегнул азарт соревнования.

Василий неотступно следовал за противником, который, было видно, чувствовал себя в воздухе как рыба о воде. Самолет Смолякова трепетал и звенел от головокружительных бросков. Капитан владел истребителем, точно талантливый скрипач смычком. Пилотируя, он вкладывал в каждый маневр свою безудержную лихость, точный расчет, незаурядную ловкость и даже веселье.

Не менее искусен был и его противник. Гонясь за ним, Смоляков чуть было не отстал на кривой петле. И вдруг, видя, с какой яростной решимостью «Дракон» пытается оторваться от него, Василий ощутил что-то вроде нервного озноба: «Да полно, почему я решил, что это Хитров? Да и вообще — свой ли это? На борту звезды, но неизвестно, кто в кабине!»

Теперь не было силы, которая могла бы заставить Смолякова прекратить преследование. Его самолет, оцетинясь ракетами, тяжелее шел на сложный маневр, давал большую просадку при выходе из пике. Только не зря Василия считали в эскадрилье мастером группового пилотажа. Никакие пируэты не помогли противнику. Истребитель в конце концов повис над ним так, что тому оставалось лишь одно: идти вниз.

И снова Василий ощутил необычную приподнятость, почти ликование. Чувство это шло не от тщеславия. Теперь ему было совсем безразлично, кого он одолел в жарком сегодняшнем поединке — Хитрова или какого-то другого пилота. Важно то, что он, военный летчик Смоляков, зрелый воздушный боец. Ему доверено охранять воздушные рубежи, и он оберегает их надежно и самоотверженно. Будь сейчас перед ним реальный противник — не ушел бы безнаказанно.

Пикируя, Василий продолжал насаждать на «Дракона». И тот наконец сдался:

— Осторожнее, тридцать седьмой! Пропусти на посадку.

Смоляков не знал, что и думать. Откуда незнакомому летчику известен его индекс? Значит, он слышал все радиопереговоры! И молчал? Выходит, он здесь с какими-то намерениями? Нет, тут что-то не так!

— Смотри, «Дракон», — настораживаясь, предупредил Василий. — Брось шутки шутить, иначе...

— Ну-ну, остынь! — пробасил странный незнакомец, разворачивая свою машину в сторону аэродрома. Однако Смоляков не отозвался и пошел следом за ним, не спуская с него взгляда.

Больше они не обмолвились ни единым словом до самого приземления. Да у Василия и настроение было такое, что ему даже разговаривать не хотелось. Он устал от невероятных перегрузок и, выйдя из кабины, пошатнулся, словно грузчик, взваливший на плечи непосильную ношу. Его ладонь еще ясно и щекотно ощущала упругую ребристую ручку руля высоты, а в сердце кипело непонятное самому раздражение, будто им только что была допущена какая-то очень досадная ошибка. Что его угнетало, осознать он не мог, но душу

томило тягучее предчувствие какой-то неприятности.

Подошел Шмелев. Его лицо было бледным. Он тихо спросил:

— Ты знаешь, кого прижал? Это же «Дракон»!

— Ну и что? — вскинул голову Смоляков, но вдруг брови его удивленно поползли вверх. В горячке схватки он совсем забыл, а теперь вспомнил, что этот позывной во время войны принадлежал известному советскому летчику и гремел по всему фронту.

— Подожди, подожди, — сказал Василий. — Ведь он же давно в отставке.

— Ты что, с луны свалился? — перебил Шмелев. — У всех его ведомых такой позывной был. И у Гриценко тоже. Вот он и сейчас иногда фронтовым индексом пользуется. Дошло?

Ах вон в чем дело! Это Александр Тимофеевич Гриценко — генерал.

Занимая весьма высокую должность, он по-прежнему летает на всех типах машин.

Василием овладело злое спокойствие. «Ну и пусть! — говорил он себе. — Пусть! А поступил я правильно».

Между тем к стоянке, где находился ракетоносец Смолякова, уже приближался его «противник». Василий видел генерала впервые, но узнал сразу: лицо Героя Советского Союза Гриценко было хорошо знакомо ему по портретам.

Шел генерал пружинящим, спортивным шагом. На нем поверх противоперегрузочного костюма были синие брюки и коричневая кожаная куртка, какую обычно носят на аэродроме все летчики. Держался он прямо, чуть вскинув голову, и Смоляков отметил в его фигуре ту особую статность, которая всегда так приятна у кадровых военных. Мягкие, темные, с проседью, волосы Александра Тимофеевича окаймляли высокий лоб, глубоко просеченный резкими морщинами.

Только что снятый гермошлем генерал нес в руке, держа за ремешок, как ведро за дужку. Василий снова подумал о том, что после посадки так носят гермошлемы все летчики.

— Вы видали, каков герой, а? — с улыбкой заговорил Гриценко, здороваясь со Шмелевым и с Василием за руку. — Вы видали, что он вытворяет? Меня, фронтового аса, «Дракона», переиграл!

— Разрешите доложить? — вытянулся перед генералом майор Шмелев, не зная, как реагировать на его слова. — Я еще не выяснил, почему не сработал запросчик... Разберусь... Спрошу с виновных по всей строгости...

— Да не спрашивать, а награждать надо! — еще веселее улыбнулся Гриценко. — Я ведь бдительность вашу проверял.

Он шагнул к Василию, положил ему руки на плечи, крепко встряхнул, притянул к себе:

— Хвалю! Люблю таких орлов!

Потом, отстранясь, снял свои золотые часы:

— Носи! Как память о нашем поединке.

И, словно устыдясь своего порыва, зашагал в сторону.

Смоляков даже сказать ничего не успел. Да, наверно, он и не знал, что говорить, хотя чувство у него было такое, будто ему удалось одним махом разрубить какой-то запутанный и туго затянутый узел.

Чтобы Шмелев не увидел его возбужденно горящих глаз, летчик отвернулся и стал глядеть в нежно-голубое небо. Облака там уже растеклись, и синева была пустой. А Василий улыбался. Никогда еще пустое небо не казалось ему таким красивым.

Встреча

Подъезжая к штабу части, в которой когда-то довелось служить, я волновался, словно перед порогом родного дома после долгой разлуки. Не терпелось поскорее увидеть знакомых и друзей. Но, как это обычно бывает, если торопить минуты встречи, они, как назло, все отодвигаются. В штабе было пусто. Мне сказали, что сегодня летный день и с утра все на полетах. Я направился на аэродром.

Аэродром встретил меня раскатистым гулом реактивных двигателей. С бетонки один за другим взмывали в небо самолеты. В глубокой высоте, казалось у самого солнца, тянулись белые барашки дымок — следы инверсии.

Полеты в разгаре. Родная, близкая сердцу картина. Неожиданно сладко защемило в груди.

Вхожу в знакомое до мельчайших подробностей двухэтажное помещение стартового командного пункта. Честное слово, такого больше нет нигде! Строили его по указанию нашего бывшего командира Героя Советского Союза Михаила Андреевича Живолупа, и он сам вносил поправки в проект. Основное достоинство стартового командного пункта в том, что весь он — из стекла, то есть стены второго этажа — это сплошь широченные окна, сквозь них видишь все летное поле. На потолке масляными красками нарисована карта района полетов, возле двери — карта синоптической обстановки. Над вышкой — высокая мачта с флагом Военно-Воздушных Сил.

Присев у окна, беседую с дежурным штурманом, наблюдаю за полетом и посадкой самолетов. Сколько раз приходилось сидеть здесь вот так же, будучи помощником руководителя полетов! Я знал тогда личный индекс каждого летчика. Да что индекс! По скорости выруливания на взлетную полосу, по профилю посадки, по еле уловимым деталям, что определяют летный почерк каждого, мог узнать, кто пилотирует самолет, как летчик выполнил задание, в каком он настроении.

А узнаю ли сейчас?

На посадочную полосу точно у посадочных знаков мягко приземлился истребитель-бомбардировщик. Когда колеса коснулись серой поверхности бетона, из-под них пыхнул сизый дымок — скоростенка все-таки! — но самолет, легко катясь на двух точках, не подпрыгнул, а медленно, будто нехотя, опускал свой остекленный нос и постепенно отдавался во власть земного тяготения.

— Расчет и посадка — отлично! — обернулся к дежурному штурману руководитель полетов подполковник Иван Петрович Флегонтов.

«Кто же летчик?» — напряженно думал я.

— Не узнаешь? — улыбнулся Иван Петрович. — Это наш Чкалов!

— Капитан Молотков?

— Он.

Василия Михайловича Молоткова я знаю давно, еще с тех пор, когда он был сержантом, укладчиком парашютов в нашем летном училище. Среднего роста, со смуглым красивым лицом, шапкой темных вьющихся волос и черными цыганскими глазами, он обращал на себя внимание подвижностью и весельем. И еще он любил петь. И мы любили его мягкий, душевный голос. Бывало, соберемся после рабочего дня в кружок, баянист не успеет еще тронуть лады, как Вася расстегнет воротничок своей габардиновой гимнастерки, заложит руку за ремень, прищурится, будто прицеливаясь, тряхнет чубом и зальется песней.

— Что курский соловей, — улыбнется кто-нибудь, хотя знает, что Вася из Саранска. Но на шутника шикнут, и все молча слушают песню, мечтают каждый о своем. Хорошо пел Василий русские песни...

Глядя на него в такие минуты, я думал о том, какая нежная душа должна быть у этого сержанта. Да так оно и было: никто никогда не слышал от Молоткова резкого слова. А уж укладчиком он был таким добросовестным, таким заботливым, что, кажется, другого такого и не встретишь. Так и говорили: если твой парашют укладывал в ранец Василий, можешь положиться на него смелее, чем на самого себя. И как-то не верилось, что наш тихий, наш добрый, мягкий Вася в шестнадцать лет сбежал из дому, чтобы попасть «в летчики».

«В летчики» его, разумеется, не взяли: по годам не подходил. Вот и стал он укладчиком парашютов, да и то лишь с доброго согласия начальника училища, который когда-то сам таким образом начинал свой путь к авиации.

Ну, работал он хорошо. Товарищи шутили, будто он тем самым оправдывал оказанное ему начальником доверие. А скорее всего, Василий по натуре был трудолюбивым, таких обычно называют безотказными, о них говорят: «Что ни поручи — все сделает».

Да, таким я знал Василия Молоткова в первые дни знакомства. А скоро узнал его и с другой стороны.

Помнится, предстояли парашютные прыжки. Перед тем как прыгать нам, первокурсникам, опытный парашютист должен был выполнить пристрелочный прыжок. Я думал, что первым прыгнет офицер, инструктор. Но каково же было мое изумление, когда к распахнутой двери воздушного корабля первым шагнул сержант Молотков! На какую-то долю секунды я увидел его сосредоточенный, решительный взгляд. И мне долго потом не верилось, что это был он, тот самый Вася, под чьи песни так хорошо мечталось.

И еще почему-то вспоминается мне комсомольское собрание, на котором выступал Василий Молотков. Забыл, какая была повестка дня и о чем он говорил, возбужденно блестя глазами и встряхивая своим чубом-шапкой, но, как сейчас, слышу слова сидящего рядом со мной Михаила Андреевича, сказанные им о Молоткове:

— Красивый парень...

Я как-то по-другому посмотрел тогда на Василия.

Все мы — и механики, и курсанты — любили Молоткова. Любили за общительный и отзывчивый характер, за веселый нрав. Какие бы ни встречались трудности, он никогда не унывал, преодолевал их с шуткой и песней.

Подошел срок увольнения в запас. Уйти из армии? Нет, сержант Молотков об этом и не думал. Не расстался со своей юношеской мечтой. Он мечтал о небе, о полетах — и подал на имя начальника училища рапорт с просьбой зачислить его курсантом.

Прошло несколько лет. Я проходил службу в отдаленном авиационном гарнизоне. И вот однажды, возвращаясь в гостиницу с аэродрома, услышал, что в моей комнате кто-то негромко поет. Нельзя было не узнать этот голос.

Жил один скрипач,
Молод и горяч...

Рывком распахиваю дверь — передо мной в форме летчика стоит Василий.

Так снова свела нас военная судьба. Мы жили вместе и летали вместе, в одном звене.

Как проходила наша жизнь? Она мало чем отличалась от той, курсантской. С понедельника до субботы — полеты. В субботу мы снимали кожаные куртки, стягивали запыленные сапоги и наряжались в парадно-выходные мундиры. Кое-кто даже кортики пристегивал. Но куда пойти в отдаленном лесном городке? Мы прогуливались по единственной на весь гарнизон асфальтированной дороге, которую в шутку именовали Невским проспектом, а потом отправлялись в клуб офицеров.

Там по вечерам нам показывали какой-нибудь старый фильм, чаще всего — про войну. В фойе играли в бильярд. Иногда его отодвигали в сторону, включали радиолу, и начинались танцы. Впрочем, и танцевали мы друг с другом, потому что девушек в тех краях видели лишь во сне. А чаще всего собирались в кружок и пели. И песни у нас были авиационные да солдатские. Даже в репертуаре художественной самодеятельности, как правило, повторялись одни и те же номера, из-за чего она у нас вскоре и заглохла. Поэтому и здесь в центре внимания оказался опять-таки Василий Молотков. Он пел нам о любви, начиная и заканчивая свои «концерты» одной и той же песней:

Ну что сказать, мой старый друг,
Мы сами в этом виноваты,
Что много девушек вокруг,
А мы с тобою не женаты...

Наутро — опять полеты. И мысли были заняты лить одним — полетами. Тем более что в небе у нас, молодых летчиков, клеилось еще далеко не все.

Нелегко было, например, научиться выдерживать заданные интервалы и дистанции в боевых порядках звена и эскадрильи. Реактивный бомбардировщик — машина тяжелая,

инертная. Взлетишь, развернешься в сторону ведущего, дашь газ до упора, а толку вроде никакого: долго-долго болтаешься из стороны в сторону, плетешься далеко позади. Потом раскоचेгаешь скорость — начинаешь догонять самолет командира, сближаешься. Вот тут уж смотри да смотри, чтобы не прозевать, уменьшить обороты, уравнять скорости точно к той секунде, когда машины пойдут рядом.

Только где там! Глазомер у нас был еще никудашный. Рванешь дроссельные краны назад — бортовая сирена надрывается: «Что ты делаешь?» Увы! Надо было не моргать: скорость уже сумасшедшая. И несется твой бомбардировщик как угорелый. Так и уперся бы руками и ногами в приборную доску, чтобы как-то притормозить, когда проскакиваешь мимо ведущего и командир грозит тебе кулаком. В шутку, конечно, грозит, но настроение у тебя, что называется, хуже вчерашнего.

В другой раз, ясное дело, осторожничаешь, еще дольше идешь позади, подкрадываешься. И нередко слышали мы в эфире сердитый голос командира звена:

— Правый, не отставай!

— Левый, подтянись!..

В строю «клин» я ходил правым, а Молотков — левым ведомым, и эти слова стали для нас своеобразным девизом в службе и работе. Мы вместе повышали свои знания, шлифовали летное мастерство, выполняли одно за другим учебно-боевые задания, соревновались друг с другом. И если у меня появлялись сомнения, Василий, поблескивая цыганскими глазами, ободряюще улыбался:

— Правый, не отставай!

А если у Молоткова что-то не ладилось, я в свою очередь напоминал ему:

— Левый, подтянись!

Так мы и держали равнение друг на друга. Отставать в чем-то самолюбие не позволяло. Зато как были горды, когда наши летные дела пошли на лад! Не раз, бывало, Михаил Андреевич Живолуп, наблюдая за нашим совместным полетом с вышки командного пункта, включал микрофон и во всеуслышание хвалил:

— Хорошо идете... Как на параде...

А это значило для нас многое. Умение выдерживать боевой порядок при полете в группе говорит о мастерстве летчиков. Плотный строй бомбардировщиков дает им тесное огневое взаимодействие и обеспечивает неприступность при атаках истребителей врага. Плотный строй самолетов на боевом курсе — это меткий массированный удар по наземной цели.

Добившись безукоризненного выполнения одной задачи, мы приступали к отработке следующей. Вот тут кто-то из летчиков и сказал, что Молотков летает по-чкаловски.

Это было летом. Июль стоял жаркий, знойный, и духота никак не способствовала полетам. А отрабатывали мы тогда стрельбы из пушек по воздушной мишени, точнее сказать — по брезентовому конусу, который на длинном тросе буксировал один из наших самолетов.

Работа была интересной. Бомбардировщик все-таки не истребитель, на нем нелегко гоняться за воздушной мишенью. Иной раз так упаришься, что летная куртка насквозь пропотеет, а на руках от штурвала вздуются мозоли. Зато какое это удовольствие — считать в конусе пробоины от своих снарядов!

Один за другим возвращались из полета наши друзья. Лица их светились радостью: задание выполнено успешно. Я тоже получил хорошую оценку. Но у Молоткова, как на грех, ни одного попадания.

— Левый, подтянись! — пошутил я по обыкновению, но Василий сердито махнул рукой: отстань, мол, и без тебя тошно.

На разборе полетов командир эскадрильи, проанализировав действия Молоткова в воздухе, недовольным тоном заключил:

— Рано открываешь огонь.

И — все. Неразговорчив был командир. А Молотков болезненно переживал свои неудачи. Оплошает в чем-нибудь, так после целую неделю молчит. Не знаю, почему он стал

таким. Наверно, будучи менее опытным в летной работе, чем мы, очень уж хотел догнать нас, сравняться с нами, а пока отставал — вот и нервничал.

Вечером мы притащили баян, попробовали расшевелить его, отвлечь от невеселых мыслей. Но Василий не стал петь. Я затыкнул было: «Капитан, капитан, улыбнитесь...» — однако Молотков поднялся и ушел. Весь вечер он где-то бродил, а когда вернулся в комнату, я уже спал.

Утром, пока механики снимали с его бомбардировщика чехлы, он курил папиросу за папиросой.

— Ты что, Вася? — спросил я его перед вылетом. Молотков блеснул из-под нахмуренных бровей своими черными, как маслины, глазами, отбросил в сторону окурок:

— В этом полете все снаряды в мишени будут!

Я не придавал особого значения его словам. Все снаряды в мишень положить — это, конечно, заманчиво, но невозможно. Ну, а то, что парень постараться решил, — это неплохо.

Молотков был уже в воздухе. Придя в зону воздушных стрельб и получив разрешение выполнять задание, он произвел перезарядку пушек и повел самолет в атаку. Все ближе, ближе мишень. Вот она подходит к малому кольцу сетки прицела. «Сейчас, сейчас, — медлит Василий. — Буду бить только наверняка!»

— Стреляй! — не выдержав, возбужденно крикнул штурман. Находясь в передней кабине, он видел, что их бомбардировщик вот-вот врежется в мишень.

Молотков и сам уже нажал гашетку. Загрохотали пушки. И вдруг Василий увидел белый брезент конуса прямо перед собой. Он резко отдал штурвал от себя. Однако было поздно: в то же мгновение раздался удар. Бомбардировщик тряхнуло с такой силой, что Молотков едва удержал рули.

— Командир! Конус оторвали! — взволнованно доложил стрелок-радист.

Василий молчал. До крови закусив губу, он выровнял самолет и взял курс на аэродром.

Я еще не знал ничего о случившемся в воздухе и, наблюдая за снижающимся на посадку бомбардировщиком, с удивлением смотрел на то, как за ним металась из стороны в сторону какая-то длинная темная полоса. Что бы это могло быть? Не иначе, антенна оборвана. Но почему? А по аэродрому уже мчалась легковушка Михаила Андреевича.

Узнав, в чем дело, мы притихли: получит сейчас Молотков солидный разнос. Но генерал не стал «строгать» летчика. Расспросив, как было дело, он просто отстранил его на неделю от полетов, приказав вместе с техниками и механиками ликвидировать повреждение. И когда я подъехал на велосипеде к самолету, Василий уже со злостью работал отверткой, отворачивал шурупы, чтобы снять помятую обшивку киля и стабилизатора. Потом подошли другие летчики, зашумели, успокаивая Молоткова:

— Да ладно, не переживай, бывает!..

И вдруг кто-то вполголоса процедил:

— Тоже мне — Чкалов!..

Да, был такой случай у нашего знаменитого летчика. При выполнении учебных стрельб по воздушному шару он израсходовал весь боекомплект. Но цель продолжала полет. Тогда Чкалов догнал шар и разрубил его винтом своего самолета. А после Валерий Павлович сказал, что так он будет действовать и при встрече с врагом. Но то — Чкалов-Молотков, конечно, все понимал и был мрачнее грозовой тучи. Чтобы как-то разрядить обстановку, я пошутил:

— Просто Вася хотел свой самолет в воздухе зачехлить.

Шутка получилась неудачной. Если бы огромный брезент конуса запеленал кабину, трудно сказать, что стал бы делать Молотков: ничего не видя, на посадку не пойдешь. И командир эскадрильи, потоптавшись возле нас, заметил:

— Самолюбив ты, Василий Михайлович. А самолюбие — оно, знаешь, в нашем деле...

Так ты вот что, держи себя в руках крепче, чем штурвал.

— Спасибо, — сухо ответил Молотков, — постараюсь... В тот год Василий снова удивил

нас. Мало-мальски освоив бомбардировщик он вдруг подал рапорт с просьбой перевести его в истребительную авиацию.

Не помню, ответили ему что-нибудь на рапорт или нет, но, когда он снова вышел на полеты, командир звена сердито сказал:

— Хватит пылить! И себя и меня в неловкое положение ставишь. Понял?

Молотков ничего не ответил ему, но, приступив к полетам, работал серьезно.

Спустя некоторое время все забылось, разве что при случае мы подтрунивали над ним, вспоминая злополучный «таран», да иногда называли его Чкаловым или Васей-истребителем. Но это тогда, когда командир хвалил его за удачный полет. И Василий весело улыбался. А что, дескать, разве я плохой летчик?

Он постепенно успокоился, и мы вновь видели его таким, каким знали в курсантскую пору. Но в то же время он был другим. Многие из нас, молодых пилотов, получив звание военного летчика третьего класса, начали с пренебрежением относиться к тренажу в кабинах самолетов. Молотков, наоборот, по-прежнему продолжал тренировки, да еще, пожалуй, с большим упорством. И глазомер отрабатывал — прямо-таки как курсант. Отмерив расстояние от бомбардировщика до того места, куда должен быть направлен взгляд перед приземлением машины, он садился в кабину и подолгу смотрел в намеченную точку. Зато как научился подводить самолет к посадочной полосе — впритирку. Вот и сегодня я невольно залюбовался тем, как красиво Василий выравнивал и мягко приземлил машину на бетонку...

Мы встретились с ним на стоянке возле его самолета. Он искренне обрадовался:

— О-о! Кого вижу! Сколько лет, сколько зим...

Мы отошли в сторонку, сели, закурили, с любопытством рассматривая друг друга.

— Хвались, Василий Михайлович, что у тебя нового. Молотков задумался. Прищурился, глядя в солнечную даль голубого неба, где медленно-медленно плыли белые кучевые облака. Помолчал, слушая залиvistые трели жаворонков, звеневших над аэродромом. Улыбнулся своим мыслям, повернулся ко мне. Все те же глаза — цыганские, озорные, с неиссякаемой молодой энергией. Из-под шлемофона выбилась прядь вьющихся волос.

— Не знаю, с чего и начать, — негромко сказал он. — Первый класс получил... Командиром звена стал... Дочь растет...

— Как зовут?

— Оксаной, — тепло улыбнулся Василий.

— С парашютом прыгаешь?

— А как же! Думаю «мастера» получить... Разговор идет сбивчиво — то об одном, то о другом.

— Василий Михайлович, а в истребительную авиацию попасть так и не удалось? — задал я наконец более всего занимавший меня вопрос. Ведь, насколько я знал, Молотков — из тех людей, которые, если уж надумают что-то, от своего не отступят.

Он хитро сощурился и улыбнулся:

— Считай, повезло мне. Командир тогда на моем рапорте такую резолюцию начертил: «Пусть сначала в совершенстве бомбардировщиком овладеет». А потом узнаю: ведь у нас есть истребители-бомбардировщики. Ну, думаю, вот это — по мне...

Истребитель-бомбардировщик, на котором летал Молотков, стоял неподалеку от нас, и мы оба посмотрели на эту машину. Самолет как самолет: фюзеляж, крылья, хвостовое оперение — все, как и должно быть, а Василий, казалось, видел в машине что-то скрытое от меня и будто ласкал ее взглядом. Пользуясь правом давней дружбы, я решил подзавести капитана:

— Стоило менять шило на мыло! Все равно бомбер. И вес, наверно, как у мастодонта.

— Много ты понимаешь! — вскинулся Василий. — Тебе такой мастодонт и во сне не снился. Это... Это... — Мой приятель даже запнулся, подыскивая слова, но нашел: — Это — ласточка!

Мне, конечно, было хорошо известно, что по своим летно-тактическим данным машина эта является многоцелевой. Конструктору удалось прекрасно совместить в ней качества истребителя, бомбардировщика и штурмовика. Словом, нужно бомбить — бомби, нужно ударить по наземному противнику с бреющего полета — бей, а если тебя атаковали — смело вступай в воздушный бой. И все же, зная об этом, я полагал, что до «чистого» истребителя такому самолету, как говорится, далеко.

— Нет, Василий Михайлович, по-моему, ты подзагнул. Для сложного пилотажа твой красавец тяжеловат.

Молотков вскочил. Его профессиональное самолюбие было задето, и он предложил:

— А хочешь — слетаем?

— Кто бы стал отказываться! — шутливо сказал я. — Тем более что у меня и задание такое — дать репортаж с борта самолета.

— Тогда — к командиру!

Мне повезло: дежурный врач, подсчитав пульс, измерив температуру и артериальное давление, признал, что все в норме. Командир части вписал мою фамилию в полетный лист, и я, натянув противоперегрузочный костюм, поспешил в кабину. Полет обещал быть интересным.

— Привязывайся, — буркнул Молотков. — Покажу, как мы в зоне крюки гнем.

Кстати, писатель А. И. Куприн где-то говорил, что у летчиков — свой жаргон. Но тут дело, пожалуй, даже не в жаргоне. Летчики, зная, что их профессию считают героической, несколько стесняются этого и поэтому всячески избегают красивых и громких слов. Потому у них фигуры сложного пилотажа — «крюки», прыжки с самолета — «козлы» и прочее в этом роде.

Ну, крюки так крюки, пусть так. Я застегнул ремни, закрыл кабину, Василий включил двигатель, и мы порулили на взлетную полосу.

— Девятому взлет? — спросил Молотков по радио руководителя полетов.

— Взлет!

Я был счастлив: лечу! Да как! Сплошной сумасшедшей полосой неслась под вздрагивающие плоскости и проваливалась, уходила назад и вниз земля. Казалось, какой-то сказочный великан-невидимка могучим и плавным махом метнул меня в солнечную высь.

Трудно бывает объяснить и тем более описать чувство полета. Почему? Да, вероятно, потому, что все другие чувства испытывает каждый человек, и тот, кто пишет о них, пользуется пониманием читателя. И если он чего-то не договорит, что-то не сумеет выразить, то его дополнит читатель. А летают, к сожалению, далеко не все. Даже пассажирами.

Ну и еще. Одно дело — подняться на самолете пассажиром, заботясь о благополучии которого летчик не сделает лишнего движения рулями, и совсем другое — пойти на сложный пилотаж.

Сложный... Само слово уже говорит обо всем. Сложный пилотаж — это высшее искусство полета. Это — воля, мастерство и оружие воздушного бойца.

Первый «крюк» — обыкновенный вираж. Плавный, еле уловимый нажим на рули — и наш крылатый корабль безропотно лег набок, переходя из неукротимого прямолинейного движения в стремительный разворот.

Мне приходилось летать на разных машинах, и вираж для меня не в диковину. Но этот самолет был в вираже неподражаем. В шутку говорят, будто лихачи шоферы могут делать такой крутой поворот, что им становится виден номер на кузове автомобиля. Шутка шуткой, а мы крутнулись так, что, право, почти увидели реактивное сопло. Во всяком случае, самолет, замкнув круг, попал в струю, которую только что выдохнула его же турбина. И затрепетал в возмущенном потоке, словно сам радовался собственной скорости и сноровке.

Попасть в свою струю — значит выписать филигранной точности окружность, где, хоть циркулем выверяй, радиус неизменен, а траектория полета — в одной плоскости. Сделать такой вираж — истинное наслаждение. При этом даже перегрузка кажется объятием

любимой. И если говорить о почерке летчика, то Молотков — каллиграф. Но вираж выполняется не ради него самого. Это боевая фигура горизонтального маневра, и побеждает в воздушном бою тот, кто искуснее в нем. Да, недаром Василий еще тогда, когда был рядовым пилотом, всей душой отдавался летной учебе. А теперь — командир звена, сам обучает молодых.

Мысли мои оборвал головокружительный бросок вверх. Кто-то бесцеремонно, по-медвежьки сгреб меня в охапку и, забавляясь, швырнул через плечо за облака. Не успел я сообразить, что это был боевой разворот, как следом тот же топтыгин до хруста в костях вдавил мое тело в кресло, прижал всей своей многопудовой тушей и, не отпуская, повлек в бездну.

Хотелось сказать: «Да погоди, не балуй, дай перевести дух!» Но самолет, который только что был в отвесном пике, уже пружинисто сломал линию полета и, вздыбясь, пошел ввысь. Руки налились свинцом, сами собой закрылись веки, будто тугой резиной стянуло кожу щек, и голубое небо померкло в глазах. Потом ноги, мои ноги, оказались вверху, а земля над головой. Истребитель опрокинулся на спину, помедлил, как бы наслаждаясь и отдыхая, потом спокойно, даже нехотя опустил нос и опять метнулся к земле.

Краем глаза я заметил, что рычаг управления двигателем дернулся вперед: Молотков увеличил обороты. Зачем? Скорость и без того бешеная. Вон на плоскостях белым дымом закружился спрессованный и разорванный в клочья воздух. Это, по законам аэродинамики, скачки уплотнения в потоке сверхзвука.

Нет, не мы к земле — земля падала на нас, быстро увеличиваясь в размерах, закрывая всю переднюю полусферу. Честное слово, весь земной шар уперся своим широким лбом мне в грудь и не дает дышать.

Осатанело выла турбина. Чья-то безжалостная рука сжала в тугой комок все мои внутренности и потянула их к горлу. Звук двигателя накалился до предела, стал яростным, протестующим, и, когда достиг самой высокой ноты, земля испуганно отпрыгнула назад. Опять вертикаль. Только на этот раз с креном. Вслед за «мертвой» — косая петля. Солнце, будто сорвавшись со своей извечной орбиты, описало в небе большую огневую дугу и упало невесть где. Я повернул голову и тотчас пожалел об этом: кислородная маска поползла в сторону с моего лица, какой-то сладкой болью заныли шейные позвонки.

— Девятый, какая у вас перегрузка? — донесся откуда-то издалека, точно с другой планеты, голос руководителя полетов.

— Нормальная, — спокойно ответил Молотков, и я понял, что он, мягко говоря, лукавит...

Самолет тем временем опять пронзил небо, опять опрокинулся вниз кабиной, но тут же мгновенно резким рывком сделал переворот и опять помчался по прямой. Ослепительный диск солнца, словно удивляясь этой безудержной удали, на мгновение задержался на крыле, и его серебристая обшивка полыхнула ярким светом. Что же мы сделали? Это была полупетля Нестерова с переворотом. Иммельман. Комбинированная фигура, когда самолет после вертикали переходит в горизонтальный полет для внезапного удара по противнику.

— Как самочувствие? — послышался в наушниках шлемофона голос Василия. Он повернул ко мне свое смуглое лицо, закрытое до самых глаз кислородной маской, и я увидел на лбу у него крупные капли пота. Ага, хотел меня удивить, а сам...

— Бочку, — попросил я, давая понять, что есть еще порох в пороховницах.

Бочка — одна из фигур сложного пилотажа, при которой самолет вращается вокруг продольной оси на все триста шестьдесят градусов. Наш истребитель, то бишь истребитель-бомбардировщик, завертелся, как вьюн на горячей сковородке. Одна бочка. Вторая. Вправо. Влево. Еще. И еще. Земля, облака, солнце — все шально кружилось вокруг нас, будто мы стали центром Вселенной.

В заключение согласно заданию мы пошли на обгон звука. Давно ли, кажется, авиаторы продвигались к невидимому звуковому барьеру робко, как разведчики на минном поле. И

было отчего робеть. Воздух при этом встает перед самолетом настоящей стеной, о которую вдребезги разбивались самые крепкие машины, хороня под своими обломками летчиков. Но мы мчались на максимальной скорости по тому пути, который проторили для нас другие. Только вздрогнули, словно подмигнув, стрелки приборов...

На земле нас обступили солдаты и офицеры. У всех один и тот же вопрос: как? Но разве ответишь на него одним словом? Трудно выразить чувство полета, ибо оно сложное. Скорость будоражит. Высота пьянит. Где-то в глубине души присмирело ощущение опасности, и, чтобы не дать ему ожить, нужны выдержка, крепкая воля. А внизу — родная земля. В сердце — гордость за могучие крылья, которые подарил тебе народ. И сознание великой ответственности: ты — страж наших воздушных рубежей.

— Ты сделал меня сегодня богаче. Спасибо, — сказал я Василию и, все еще находясь под гипнозом полета, посмотрел на истребитель-бомбардировщик. Как он красив и изящен! Даже здесь, на земле, каждый нерв этого сигарообразного снаряда, казалось, трепетал от безудержного стремления рвануться ввысь, пронзить небо, сшибить в яростном поединке любого недруга.